



АЛЕКСАНДР ДЮМА
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ

Три мушкетера

Александр Дюма
Двадцать лет спустя

«Public Domain»

1845

Дюма А.

Двадцать лет спустя / А. Дюма — «Public Domain», 1845 — (Три мушкетера)

ISBN 978-5-699-22556-9

Книга Александра Дюма-отца давно и прочно вошли в круг любимого чтения миллионов. И роман «Двадцать лет спустя» – занимательный, остроумный, напряженный – блестящее тому подтверждение. С того момента, как четверка отважных мушкетеров разрушила козни кардинала Ришелье против королевы, минуло двадцать лет. Во Франции наступило «смутное время», и друзьям снова пришлось взяться за оружие, чтобы послужить своей стране. Правда, на сей раз они оказались по разные стороны баррикад. Но девиз их молодости «Один за всех, и все – за одного!» побеждает политические разногласия, и неразлучная четверка сообща пытается спасти от казни несчастного и благородного короля Карла I. Перевод с французского под редакцией М.А.Лопыревой и Н.Я.Рыковой.

ISBN 978-5-699-22556-9

© Дюма А., 1845
© Public Domain, 1845

Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	11
Глава III	17
Глава IV	26
Глава V	32
Глава VI	36
Глава VII	40
Глава VIII	46
Глава IX	51
Глава X	56
Глава XI	61
Глава XII	68
Глава XIII	72
Глава XIV	78
Глава XV	82
Глава XVI	87
Глава XVII	92
Глава XVIII	99
Глава XIX	103
Глава XX	110
Глава XXI	118
Глава XXII	125
Конец ознакомительного фрагмента.	131

Александр Дюма Двадцать лет спустя

Часть первая

Глава I Тень Ришелье

В одном из покоев уже знакомого нам кардинальского дворца, за столом с позолоченными углами, заваленным бумагами и книгами, сидел мужчина, подперев обеими руками голову.

Позади него в огромном камине горел яркий огонь, и пылающие головни с треском обваливались на вызолоченную решетку. Свет очага падал сзади на великолепное одеяние задумавшегося человека, а лицо его освещало пламя свечей, зажженных в канделябрах.

И красная сутана, отделанная богатыми кружевами, и бледный лоб, омраченный тяжелой думой, и уединенный кабинет, и тишина пустых соседних зал, и мерные шаги часовых на площадке лестницы – все наводило на мысль, что это тень кардинала Ришелье оставалась еще в своем прежнем жилище.

Увы, это была действительно только тень великого человека! Ослабевшая Франция, пошатнувшаяся власть короля, вновь собравшееся с силами буйное дворянство и неприятель, переступивший границу, свидетельствовали о том, что Ришелье здесь больше нет.

Но еще больше утверждало в мысли, что красная сутана принадлежала вовсе не старому кардиналу, одиночество, в котором пребывала эта фигура, тоже более подобавшее призраку, чем живому человеку: в пустых коридорах не толпились придворные, зато дворы были полны стражи; с улицы к окнам кардинала летели насмешки всего города, объединившегося в бурной ненависти к нему; наконец, издали то и дело доносилась ружейная пальба, которая, правда, пока велась впустую, с единственной целью показать караулу, швейцарским наемникам, мушкетерам и солдатам, окружавшим Пале-Рояль (теперь и самый кардинальский дворец сменил имя), что у народа тоже есть оружие.

Этой тенью Ришелье был Мазарини.

Он чувствовал себя одиноким и бессильным.

– Иностранец! – шептал он. – Итальянец! Вот их излюбленные слова. С этими словами они убили, повесили, истребили Кончини. Если бы я дал им волю, они бы и меня убили, повесили, истребили. А какое я им сделал зло? Только прижал их немного налогами. Дурачье! Они не понимают, что враг их совсем не итальянец, плохо говорящий по-французски, а разные краснобаи, с чистейшим парижским выговором разглагольствующие перед ними.

Да, да, – бормотал министр с тонкой улыбкой, казавшейся сейчас неуместной на его бледных губах, – да, ваш ропот напоминает мне, как непрочна судьба временщика; но если вы это знаете, то знайте же, что я-то не простой временщик! У графа Эссекса был великолепный перстень с алмазами, который подарила ему царственная любовница; а у меня простое кольцо с вензелем и числом, но это кольцо освящено в церкви Пале-Рояля. Им не сломить меня, сколько они ни грозятся. Они не замечают, что, хоть они и кричат вечно «Долой Мазарини!», я заставляю их кричать также: «Да здравствует герцог Бофор!», «Да здравствует принц Конде!» или «Да здравствует парламент!». И вот герцог Бофор в Венсене, принц не сегодня-завтра угодит туда же, а парламент... (Тут улыбка кардинала превратилась в гримасу такой ненависти, какой

никогда не видели на его ласковом лице.) Парламент... Посмотрим еще, что сделать с парламентом; за нас Орлеан и Монтаржи. О, я спешить не стану; но те, кто начал криком «Долой Мазарини!», в конце концов будут кричать «долой» всем этим людям, каждому по очереди.

Кардиналу Ришелье, которого они ненавидели, пока он был жив, и о котором только и говорят с тех пор, как он умер, приходилось хуже меня – ведь его несколько раз прогоняли, и очень часто он боялся быть выгнанным. Меня же королева никогда не прогонит, и если я буду вынужден уступить народу, то она уступит вместе со мной; если мне придется бежать, она убежит вместе со мной, и тогда посмотрим, как бунтовщики обойдутся без своей королевы и короля. Ах, не будь я иностранец, будь я француз, будь я дворянин!..

И он снова впал в задумчивость.

Действительно, положение было трудное, а истекший день усложнил его еще более. Мазарини, вечно подстрекаемый своей гнусной жадностью, давил народ налогами, и народ, у которого, как говорил прокурор Талон, оставалась одна душа в теле, и то потому, что ее не продашь с публичных торгов, – этот народ, которому громом военных побед хотели заткнуть глотку и который убедился, что лаврами он сыт не будет, – давно уже роптал.

Но это было еще не все. Пока ропщет один только народ, двор, отделенный от него буржуазией и дворянством, не слышит его ропота; но Мазарини имел неосторожность затронуть судебное ведомство: он продал двенадцать патентов на должность парламентских докладчиков! Между тем чиновники платили за свои места очень дорого; а так как появление двенадцати новых собратьев должно было снизить цену, то прежние чины соединились и поклялись на Евангелии ни под каким видом не допускать новых докладчиков и сопротивляться всем притеснениям двора; они обязались, в случае если бы один из них за неповиновение потерял свою должность, сложиться и возратить ему стоимость патента.

Вот какие действия были предприняты с обеих сторон.

Седьмого января около восьмисот парижских купцов собрались, возмущенные новыми налогами на домовладельцев, и, избрав десять депутатов, отправили их к герцогу Орлеанскому, который, по своему старому обычаю, заигрывал с народом. Герцог Орлеанский принял их, и они заявили ему, что решили не платить нового налога, хотя бы им пришлось защищаться против королевских сборщиков с оружием в руках. Герцог Орлеанский выслушал их очень благосклонно, обнадежил, посулил поговорить об уменьшении налога с королевой и напутствовал их, как и полагается принцу, обещанием: «Посмотрим».

Со своей стороны, парламентские докладчики девятого числа явились к кардиналу, и один из них от лица всех остальных говорил так решительно и смело, что кардинал был изумлен; он отпустил их, сказав, как и герцог Орлеанский: «Посмотрим».

И вот, чтобы посмотреть, был созван совет; послали за управляющим финансами д'Эмери.

Народ ненавидел этого д'Эмери: во-первых, потому, что он управлял финансами, а управляющего финансами всегда ненавидят, во-вторых, надо признаться, он этого в самом деле заслуживал.

Это был сын лионского банкира Партичелли, который после банкротства переменял фамилию и стал называться д'Эмери. Кардинал Ришелье, заметив в нем большие финансовые способности, представил его Людовику XIII под именем д'Эмери и, желая назначить его управляющим финансами, расхвалил его.

– Чудесно! – ответил король. – Я очень рад, что вы предлагаете д'Эмери на это место, где нужен человек честный. Мне говорили, что вы покровительствуете мошеннику Партичелли, и я боялся, что вы заставите меня взять его.

– Государь, – ответил кардинал, – будьте покойны: Партичелли, о котором угодно было вспомнить вашему величеству, уже повешен.

– А, тем лучше! – воскликнул король. – Значит, не напрасно называют меня Людовиком Справедливым.

И он подписал назначение д'Эмери.

Этот самый д'Эмери и был теперь управляющим финансами.

За ним послали от имени министра; он прибежал бледный, перепуганный и рассказал, что его сына чуть не убили сегодня на дворцовой площади: его узнали, окружили и стали поносить за роскошь, в которой жила его жена, – ее покои были обиты красным бархатом с золотой бахромой. Она была дочерью Николя Ле-Камю, секретаря с 1617 года, который пришел в Париж с двадцатью ливрами в кармане, а недавно, оставив для себя сорок тысяч ливров ренты, разделил между своими детьми девять миллионов.

Сына д'Эмери едва не задушили. Один из бунтовщиков предлагал мять его до тех пор, пока из него не выжмут награбленного золота.

Управляющий финансами был слишком взволнован происшествием с сыном, чтобы рассуждать спокойно, и совет ничего не решил в этот день.

На следующий день первый президент парламента Матье Моле, смелость которого в подобных обстоятельствах, по словам кардинала де Реца, равнялась храбрости герцога Бофора и принца Конде, иначе говоря, двух лиц, считавшихся самыми отважными во всей Франции, – этот первый президент на другой день тоже подвергся нападению: народ угрожал разделаться с ним за все учиненное зло. Однако первый президент ответил со своим обычным спокойствием, не волнуясь и не выказывая удивления, что если смутьяны не подчинятся воле короля, то он велит поставить на площадях виселицы и тотчас же вздернет на них самых буйных. На это ему сказали, что виселицы давно пора поставить: они пригодятся, чтобы вздернуть на них судей-лихоимцев, покупающих себе милость двора ценой народной нищеты.

Но и это было еще не все. Одиннадцатого числа, когда королева направлялась к обедне в собор Парижской богородицы, что она делала неизменно каждую субботу, за ней двинулось больше двухсот женщин, крича и требуя справедливости. Впрочем, у них не было дурных намерений: они хотели только стать на колени перед королевой и пробудить в ней сострадание. Но конвой не допустил их, а королева прошла надменно и гордо, не слушая жалоб.

После полудня был снова собран совет, и на нем решено было поддержать авторитет короля; для этой цели на следующий день, двенадцатого числа, было назначено заседание парламента.

В тот день, с вечера которого мы и начинаем наш рассказ, десятилетний король, только что выздоровевший от ветряной оспы, ходил благодарить за свое исцеление Парижскую богородицу. Под этим предлогом по королевскому приказу были собраны все гвардейцы, швейцарцы, мушкетеры и выстроены вокруг Пале-Рояля, вдоль набережных и Нового моста. Прослушав обедню, король отправился в парламент, где таким образом неожиданно состоялось «королевское заседание», и не только подтвердил все прежние эдикты, но огласил еще пять или шесть новых, один разорительнее другого, по словам кардинала де Реца. И теперь даже первый президент, который, как мы видели, держал раньше сторону двора, решительно выступил против того, чтобы короля приводили в парламент для стеснения свободы депутатов.

Но особенно дерзко восстали против новых налогов президент Бланмениль и советник Брусель.

Огласив эдикты, король вернулся в Пале-Рояль. Народ толпился на его пути. Все знали, что он возвращается из парламента, но неизвестно было, ходил ли он туда, чтобы защитить народ, или для того, чтобы сильнее притеснить его. Вот почему на всем пути его не раздалось ни одного радостного крика, ни одного приветствия по случаю его выздоровления. Лица горожан, напротив, были мрачны и беспокойны; на некоторых выражалась даже угроза.

Хотя король вернулся во дворец, войска остались на своих местах, – боялись, как бы не вспыхнул мятеж, когда станут известны результаты заседания парламента. И правда, едва

лишь разнесся слух, что король, вместо того чтобы облегчить налоги, еще более их увеличил, люди сейчас же стали собираться кучками, послышались громкие жалобы и крики: «Долой Мазарини! Да здравствует Брюсель! Да здравствует Бланмениль!»

Народ знал, что Брюсель и Бланмениль говорили в его пользу, и хотя их красноречие пропало даром, он тем не менее был им благодарен.

Толпу хотели разогнать, хотели заставить ее замолчать, но, как всегда бывает в таких случаях, она только разрасталась и крики усиливались.

Королевским гвардейцам и швейцарцам был отдан приказ не только сдерживать толпу, но и выслать патрули на улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, где сборища казались особенно многочисленными и возбужденными; тут в Пале-Рояле доложили о приезде купеческого старшины.

Он немедленно был принят и объявил, что если правительство не прекратит своих враждебных действий, то через два часа весь Париж возьмется за оружие.

Еще спорили о том, какие следует принять меры, когда вошел гвардейский лейтенант Коменж. Лицо его было в крови, платье изодрано. Увидев его, королева вскрикнула от изумления и спросила, что с ним случилось.

А случилось то, что предвидел купеческий старшина: народ раздражило появление солдат. Со всех колоколен ударили в набат. Коменж не растерялся, арестовал какого-то человека, который показался ему одним из главных бунтарей, и велел, для примера, повесить его на кресте посреди площади Трагуар; солдаты схватили его и потащили, чтобы выполнить приказ. Но около рынка на них напала толпа: посыпались камни и удары алебард. Мятежник воспользовался минутой, добежал до улицы Менял и скрылся в доме, двери которого солдаты тотчас же выломали.

Однако это грубое насилие оказалось напрасным: виновного нигде не могли найти. Коменж поставил караул около дома, а сам с остальными солдатами вернулся во дворец, чтобы доложить обо всем королеве. По всему пути их преследовали крики и угрозы; несколько человек из его отряда были поранены пиками и алебардами, и самому ему камнем рассекли бровь.

Рассказ Коменжа подтвердил заявление старшины; дело пахло серьезным восстанием, а к нему не были подготовлены. Поэтому кардинал велел распустить в народе слух, что войска выстроены на набережных и на Новом мосту только по случаю церемонии и сейчас удалятся. Действительно, к четырем часам дня они все были стянуты ко дворцу Пале-Рояль; поставили пост у заставы Сержантов, другой – у Трехсот Слепых, третий – на холме Святого Рока. Во дворах и нижних этажах дворца собрали швейцарцев и мушкетеров и стали ждать.

Вот в каком положении были дела, когда мы ввели читателя в кабинет кардинала Мазарини, бывший прежде кабинетом Ришелье. Мы видели, в каком расположении духа был кардинал, прислушиваясь к доносившемуся до него народному ропоту и к далеким ружейным выстрелам.

Вдруг он поднял голову, нахмурил брови, как человек на что-то решившийся, взглянул на огромные стенные часы, которые сейчас должны были пробить десять, взял со стола бывший у него всегда под руками золоченый свисток и свистнул два раза.

Бесшумно отворилась скрытая под стеной обивкой дверь; из нее тихо вышел человек, одетый в черное, и встал за его креслом.

– Бернуин, – сказал кардинал, даже не оглянувшись, так как знал, что на два свистка должен явиться камердинер, – что за мушкетеры дежурят во дворце?

– Черные мушкетеры, монсеньор.

– Какой роты?

– Господина де Тревиля.

– Есть кто-нибудь из офицеров этой роты в передней?

– Лейтенант д'Артаньян.

– Надежный, надеюсь?

– Да, монсеньор.

– Подай мне мушкетерский мундир и помоги одеться.

Камердинер вышел так же беззвучно, как вошел, и через минуту вернулся с платьем.

В молчаливой задумчивости Мазарини стал снимать свое парадное облачение, которое надел, чтобы присутствовать на заседании парламента; затем натянул военный мундир, который он носил с известной непринужденностью еще в итальянских походах. Одевшись, он сказал:

– Позови сюда д'Артаньяна.

Камердинер вышел, на этот раз в среднюю дверь, по-прежнему безмолвный, словно тень.

Оставшись один, кардинал с удовлетворением посмотрел на себя в зеркало. Он был еще молод – ему только что минуло сорок шесть лет, – хорошо сложен, роста чуть ниже среднего; у него был прекрасный, свежий цвет лица, глаза, полные огня, большой, но красивый нос, широкий гордый лоб, русые, слегка курчавые волосы; борода, темнее волос на голове, была всегда тщательно завитая, что очень шло к нему.

Кардинал надел перевязь со шпагой, самодовольно оглядел свои красивые и выхолненные руки и, отбросив грубые замшевые перчатки, полагающиеся по форме, надел обыкновенные – шелковые.

В эту минуту дверь отворилась.

– Лейтенант д'Артаньян, – доложил камердинер.

Вошел офицер.

Это был мужчина лет тридцати девяти или сорока, небольшого роста, но стройный, худой, с живыми умными глазами, с черной бородой, но с проседью на голове, что часто бывает у людей, которые прожили жизнь слишком весело или слишком печально, – в особенности если волосы у них темные.

Д'Артаньян, войдя в комнату, сразу же узнал кабинет кардинала Ришелье, где ему пришлось побывать однажды. Видя, что здесь никого нет, кроме мушкетера его роты, он внимательно посмотрел на этого человека и под одеждой мушкетера сразу же узнал кардинала.

Д'Артаньян остановился в позе почтительной, но полной достоинства, как подобает человеку из общества, привыкшему часто встречаться с вельможами.

Кардинал устремил на него взгляд, скорее острый, нежели глубокий, рассмотрел его внимательно и после нескольких секунд молчания спросил:

– Вы господин д'Артаньян?

– Так точно, монсеньор, – ответил офицер.

Кардинал еще раз посмотрел на умную голову, на лицо, чрезвычайную подвижность которого обуздали годы и опытность. Д'Артаньян выдержал испытание: на него смотрели некогда глаза поострее тех, что подвергали его исследованию сейчас.

– Вы поедете со мной, сударь, – сказал кардинал, – или, вернее, я поеду с вами.

– Я к вашим услугам, монсеньор, – ответил д'Артаньян.

– Я хотел бы лично осмотреть посты у Пале-Рояля. Как вы думаете, это опасно?

– Опасно, монсеньор? – удивился д'Артаньян. – Почему же?

– Говорят, народ совсем взбунтовался.

– Мундир королевских мушкетеров пользуется большим уважением, монсеньор, и, в случае надобности, я с тремя товарищами берусь разогнать сотню этих бездельников.

– Но вы знаете, что случилось с Коменжем?

– Господин Коменж – гвардеец, а не мушкетер, – ответил д'Артаньян.

– Вы хотите сказать, – заметил кардинал, улыбаясь, – что мушкетеры лучшие солдаты, чем гвардейцы?

– Каждый гордится своим мундиром, монсеньор.

– Только не я, – рассмеялся Мазарини. – Вы видите, я променял его на ваш.

– Черт побери! – воскликнул д'Артаньян. – Вы это говорите из скромности, монсеньор! Что до меня, то, будь у меня мундир вашего преосвященства, я удовольствовался бы им и позаботился бы о том, чтобы никогда не надевать другого.

– Да, только для сегодняшней прогулки он, пожалуй, не очень надежен. Бернуин, шляпу!

Слуга подал форменную шляпу с широкими полями. Кардинал надел ее, лихо заломив набок, и обернулся к д'Артаньяну:

– У вас в конюшне есть оседланные лошади?

– Есть, монсеньор.

– Так едем.

– Сколько человек прикажете взять с собою, монсеньор?

– Вы сказали, что вчетвером справитесь с сотней бездельников; так как мы можем встретить их две сотни, возьмите восьмерых.

– Как прикажете.

– Идите, я следую за вами. Или нет, постойте, лучше пройдем здесь. Бернуин, посвети нам.

Слуга взял свечу, а кардинал взял со стола маленький вырезной ключ, и, выйдя по потайной лестнице, они через минуту очутились во дворе Пале-Рояля.

Глава II

Ночной дозор

Десять минут спустя маленький отряд выехал на улицу Добрых Ребят, обогнув театр, построенный кардиналом Ришелье для первого представления «Мирам»; теперь здесь, по воле кардинала Мазарини, предпочитавшего литературе музыку, шли первые во Франции оперные спектакли.

Все в городе свидетельствовало о народном волнении. Многочисленные толпы двигались по улицам, и, вопреки тому, что говорил д'Артаньян, люди останавливались и смотрели на солдат дерзко и с угрозой. По всему видно было, что у горожан обычное добродушие сменилось более воинственным настроением. Время от времени со стороны рынка доносился гул голосов. На улице Сен-Дени стреляли из ружей, и по временам где-то внезапно и неизвестно для чего, единственно по прихоти толпы, начинали бить в колокол.

Д'Артаньян ехал с беззаботностью человека, для которого такие пустяки ничего не значат. Если толпа загораживала дорогу, он направлял на нее своего коня, даже не крикнув «берегись!»; и, как бы понимая, с каким человеком она имеет дело, толпа расступалась и давала всадникам дорогу. Кардинал завидовал этому спокойствию; и хотя оно объяснялось, по его мнению, только привычкой к опасностям, он чувствовал к офицеру, под начальством которого вдруг очутился, то невольное уважение, в котором благоразумие не может отказать беспечной смелости.

Когда они приблизились к посту у заставы Сержантов, их окликнул часовой:

– Кто идет?

Д'Артаньян отозвался и, спросив у кардинала пароль, подъехал к караулу. Пароль был: Людовик и Рокруа.

После обмена условными словами д'Артаньян спросил, не лейтенант ли Коменж командует караулом.

Часовой указал ему на офицера, который стоя разговаривал с каким-то всадником, положив руку на шею лошади. Это был тот, кого искал д'Артаньян.

– Господин де Коменж здесь, – сказал д'Артаньян, вернувшись к кардиналу.

Мазарини подъехал к нему, между тем как д'Артаньян из скромности остался в стороне; по манере, с какой оба офицера, пеший и конный, сняли свои шляпы, он видел, что они узнали кардинала.

– Bravo, Гито, – сказал кардинал всаднику, – я вижу, что, несмотря на свои шестьдесят четыре года, вы по-прежнему бдительны и преданны. Что вы говорили этому молодому человеку?

– Монсеньор, – отвечал Гито, – я говорил ему, что мы переживаем странные времена и что сегодняшней день очень напоминает дни Лиги, о которой я столько слышал в молодости. Знаете, сегодня на улицах Сен-Дени и Сен-Мартен речь шла не более не менее, как о баррикадах!

– И что же ответил вам Коменж, мой дорогой Гито?

– Монсеньор, – сказал Коменж, – я ответил, что для Лиги им кой-чего недостает, и немало, – а именно герцога Гиза; да такие вещи и не повторяются.

– Это верно, но зато они готовят Фронду,¹ как они выражаются, – заметил Гито.

– Что такое Фронда? – спросил Мазарини.

– Они так называют свою партию, монсеньор.

¹ Фронда, la fronde – праща (*фр.*).

– Откуда это название?

– Кажется, несколько дней тому назад советник Башомон сказал в парламенте, что все мятежники похожи на парижских школьников, которые сидят по канавам с пращой и швыряют камнями; чуть завидят полицейского – разбегаются, но как только он пройдет, опять принимаются за прежнее. Они подхватили это слово и стали называть себя фрондерами, как брюссельские оборванцы зовут себя гезами. За эти два дня все стало «по-фрондерски» – булки, шляпы, перчатки, муфты, веера; да вот послушайте сами.

Действительно, в эту самую минуту распахнулось какое-то окно, в него высунулся мужчина и запел:

Слышен ветра шепот,
Слышен свист порой,
Это Фронды ропот:
«Мазарини долой!»

– Наглец, – проворчал Гито.

– Монсеньор, – сказал Коменж, который из-за полученных побоев был в дурном настроении и искал случая в отместку за свою шишку нанести рану, – разрешите послать пулю этому бездельнику, чтобы научить его не петь в другой раз так фальшиво?

И он уже протянул руку к кобуре на дядюшкином седле.

– Нет, нет! – воскликнул Мазарини. – *Diavol*,² мой милый друг, вы все дело испортите, а оно пока идет чудесно. Я знаю всех ваших французов, от первого до последнего: поют, – значит, будут платить. Во времена Лиги, о которой вспоминал сейчас Гито, распевали только мессы, ну и было очень плохо. Едем, Гито, едем, посмотрим, так ли хорош караул у Трехсот Слепых, как у заставы Сержантов.

И, махнув Коменжу рукой, он подъехал к д'Артаньяну, который снова занял место во главе своего маленького отряда. Следом за ним ехали кардинал и Гито, а немного поодаль остальные.

– Это правда, – проворчал Коменж, глядя вслед удаляющемуся кардиналу. – Я и забыл: платить да платить, больше ему ничего не надо.

Теперь они ехали по улице Сент-Оноре, беспрестанно рассеивая по пути кучки народа. В толпе только и разговору было что о новых эдиктах; жалели юного короля, который, сам того не зная, разоряет народ; всю вину сваливали на Мазарини; поговаривали о том, чтобы обратиться к герцогу Орлеанскому и к принцу Конде; восторженно повторяли имена Бланмениля и Брюсея.

Д'Артаньян беспечно ехал среди народа, как будто он сам и его лошадь были из железа; Мазарини и Гито тихо разговаривали; мушкетеры, наконец узнавшие кардинала, хранили молчание.

Когда по улице Святого Фомы они подъехали к посту Трехсот Слепых, Гито вызвал младшего офицера. Тот подошел с рапортом.

– Ну, как дела? – спросил Гито.

– Капитан, – ответил офицер, – все обстоит благополучно; только в этом дворце что-то неладно, на мой взгляд.

И он показал рукой на великолепный дворец, стоявший там, где позже построили театр Водевиль.

– В этом доме? – спросил Гито. – Да ведь это особняк Рамбулье.

² Черт (*ит.*).

– Не знаю, Рамбулье или нет, но только я видел своими глазами, как туда входило множество подозрительных лиц.

– Вот оно что! – расхохотался Гито. – Да ведь это поэты!

– Эй, Гито, – сказал Мазарини, – не отзывайся так непочтительно об этих господах. Я сам в юности был поэтом и писал стихи на манер Бенсерада.

– Вы, монсеньор?!

– Да, я. Хочешь, продекламирую?

– Это меня не убедит. Я не понимаю по-итальянски.

– Зато когда с тобой говорят по-французски, ты понимаешь, мой славный и храбрый Гито, – продолжал Мазарини, дружески кладя руку ему на плечо, – и какое бы ни дали тебе приказание на этом языке, ты его исполнишь?

– Без сомнения, монсеньор, как всегда, если, конечно, приказание будет от королевы.

– Да, да! – сказал Мазарини, закусывая губу. – Я знаю, ты всецело ей предан.

– Уж двадцать лет я состою капитаном гвардии ее величества.

– В путь, д'Артаньян, – сказал кардинал, – здесь все в порядке.

Д'Артаньян, не сказав ни слова, занял свое место во главе колонны с тем слепым повиновением, которое составляет отличительную черту солдата.

Они проехали по улицам Ришелье и Вильдо к третьему посту на холме Святого Рока. Этот пост, расположенный почти у самой крепостной стены, был самым уединенным, и прилегающая к нему часть города была мало населена.

– Кто командует этим постом? – спросил кардинал.

– Вилькье, – ответил Гито.

– Черт! – выругался Мазарини. – Поговорите с ним сами. Вы знаете, мы с ним не в ладах с тех пор, как вам поручено было арестовать герцога Бофора: он в обиде, что ему, капитану королевской гвардии, не доверили эту честь.

– Знаю и сто раз доказывал ему, что он не прав, потому что король, которому было тогда четыре года, не мог ему дать такого приказания.

– Да, но зато я мог его дать, Гито; однако я предпочел вас.

Гито, ничего не отвечая, пришпорил лошадь и, обменявшись паролем с часовым, вызвал Вилькье.

Тот подошел к нему.

– А, это вы, Гито! – проговорил он ворчливо, по своему обыкновению. – Какого черта вы сюда явились?

– Приехал узнать, что у вас нового.

– А чего вы хотите? Кричат: «Да здравствует король!» и «Долой Мазарини!» Ведь это уже не новость: за последнее время мы привыкли к таким крикам.

– И сами им вторите? – смеясь, спросил Гито.

– По правде сказать, иной раз хочется! По-моему, они правы, Гито; и я охотно бы отдал все не выплаченное мне за пять лет жалованье, лишь бы король был теперь на пять лет старше!

– Вот как! А что было бы, если бы король был на пять лет старше?

– Было бы вот что: король, будь он совершеннолетним, стал бы сам отдавать приказания, а гораздо приятнее повиноваться внуку Генриха Четвертого, чем сыну Пьетро Мазарини. За короля, черт возьми, я умру с удовольствием; но сложить голову за Мазарини, как это чуть не случилось сегодня с вашим племянником!.. Никакой рай меня в этом не утешит, какую бы должность мне там ни дали.

– Хорошо, хорошо, капитан Вилькье, – сказал Мазарини, – будьте покойны, я доложу королю о вашей преданности. – И, обернувшись к своим спутникам, прибавил: – Едем, господа; все в порядке.

– Вот так штука! – воскликнул Вилькье. – Сам Мазарини здесь! Тем лучше: меня уже давно подмывало сказать ему в глаза, что я о нем думаю. Вы доставили мне подходящий случай, Гито, и хотя у вас вряд ли были добрые намерения, я все же благодарю вас.

Он повернулся на каблуках и ушел в караульную, насвистывая фрондерскую песенку.

Весь обратный путь Мазарини ехал в раздумье: все услышанное им от Коменжа, Гито и Вилькье убеждало его, что в трудную минуту за него никто не постоит, кроме королевы; а королева так часто бросала своих друзей, что поддержка ее казалась иногда министру, несмотря на все принятые им меры, очень ненадежной и сомнительной.

В продолжение своей ночной поездки, длившейся около часа, кардинал, расспрашивая Коменжа, Гито и Вилькье, не переставал наблюдать одного человека. Этот мушкетер, который сохранял спокойствие перед народными грозами и даже бровью не повел ни на шутки Мазарини, ни на те насмешки, предметом которых был сам кардинал, казался ему человеком необычным и достаточно закаленным для происходящих событий, а еще больше для надвигающихся в будущем.

К тому же имя д'Артаньяна не было ему совсем незнакомо, и хотя он, Мазарини, явился во Францию только в 1634 или 1635 году, то есть лет через семь-восемь после происшествий, описанных нами в предыдущей книге, он все-таки где-то слышал, что так звали человека, проявившего однажды (он уже позабыл, при каких именно обстоятельствах) чудеса ловкости, смелости и преданности.

Эта мысль настолько занимала его, что он решил немедленно разобраться в этом деле, но за сведениями о д'Артаньяне не к д'Артаньяну же было обращаться! По некоторым словам, произнесенным лейтенантом мушкетеров, кардинал признал в нем гасконца; а итальянцы и гасконцы слишком схожи и слишком хорошо понимают друг друга, чтобы относиться с доверием к тому, что каждый из них может наговорить о самом себе. Поэтому, когда они подъехали к стене, окружавшей сад Пале-Рояля, кардинал постучался в калитку (примерно в том месте, где сейчас находится кафе «Фуа»), поблагодарил д'Артаньяна и, попросив его обождать во дворе, сделал знак Гито следовать за собой. Оба сошли с лошадей, бросили поводья лакею, отворившему калитку, и исчезли в саду.

– Дорогой Гито, – сказал кардинал, беря под руку старого гвардейского капитана, – вы мне напомнили недавно, что уже более двадцати лет состоите на службе королевы.

– Да, это так, – ответил Гито.

– Так вот, мой милый Гито, – продолжал кардинал, – я заметил, что вы, кроме вашей храбрости, которая не подлежит никакому сомнению, и много раз доказанной верности, отличаетесь еще и превосходной памятью.

– Вы это заметили, монсеньор? – сказал гвардейский капитан. – Черт, тем хуже для меня.

– Почему?

– Без сомнения, одно из главных достоинств придворного – это умение забывать.

– Но вы, Гито, не придворный, вы храбрый солдат, один из тех славных воинов, которые еще остались от времен Генриха Четвертого и, к сожалению, скоро совсем переведутся.

– Черт поberi, монсеньор! Уж не пригласили ли вы меня сюда для того, чтобы составить мой гороскоп?

– Нет, – ответил Мазарини, смеясь, – я пригласил вас, чтобы спросить, обратили ли вы внимание на нашего лейтенанта мушкетеров.

– Д'Артаньяна?

– Да.

– Мне ни к чему было обращать на него внимание, монсеньор: я уже давно его знаю.

– Что же это за человек?

– Что за человек? – воскликнул Гито, удивленный вопросом. – Гасконец.

– Это я знаю; но я хотел спросить: можно ли ему вполне довериться?

– Господин де Тревиль относится к нему с большим уважением, а господин де Тревиль, как вы знаете, один из лучших друзей королевы.

– Я хотел бы знать, показал ли он себя на деле...

– Храбрым солдатом? На это я могу ответить вам сразу. Мне говорили, что при осаде Ла-Рошели, под Сузой, под Перпиньяном он совершил больше, чем требовал его долг.

– Но вы знаете, милый Гито, мы, бедные министры, нуждаемся часто и в другого рода людях, не только в храбрецах. Мы нуждаемся в ловких людях. Д'Артаньян при покойном кардинале, кажется, был замешан в крупную интригу, из которой, по слухам, выпутался очень умело?

– Монсеньор, по этому поводу, – сказал Гито, который понял, что кардинал хочет заставить его проговориться, – я должен сказать, что мало верю всяким слухам и выдумкам. Сам я никогда не путаюсь ни в какие интриги, а если иногда меня и посвящают в чужие, то ведь это не моя тайна, и ваше преосвященство одобрит меня за то, что я храню ее ради того, кто мне доверился.

Мазарини покачал головой.

– Ах, – сказал он, – честное слово, бывают же счастливы министры, которые узнают все, что хотят знать.

– Монсеньор, – ответил Гито, – такие министры не меряют всех людей на один аршин: для военных дел они пользуются военными людьми, для интриг – интриганам. Обратитесь к какому-нибудь интригану тех времен, о которых вы говорите, и от него вы узнаете, что захотите... за плату, разумеется.

– Хорошо, – поморщился Мазарини, как всегда бывало, когда речь заходила о деньгах в том смысле, как про них упомянул Гито, – заплатим... если иначе нельзя.

– Вы действительно желаете, чтобы я указал вам человека, участвовавшего во всех кознях того времени?

– Рег Вассо!³ – воскликнул Мазарини, начиная терять терпение. – Уже целый час я толкую вам об этом, упрямая голова!

– Есть человек, по-моему, вполне подходящий, но только согласится ли он говорить?

– Уж об этом позабочусь я.

– Ах, монсеньор, не всегда легко заставить говорить человека, предпочитающего молчать.

– Ба! Терпением можно всего добиться. Итак, кто он?

– Граф Рошфор.

– Граф Рошфор?

– Да, но, к несчастью, он исчез года четыре назад, и я не знаю, что с ним случилось.

– Я-то знаю, Гито, – сказал Мазарини.

– Так почему же вы сейчас жаловались, ваше преосвященство, что ничего не знаете?

– Так вы думаете, – сказал Мазарини, – что этот Рошфор...

– Он был предан кардиналу телом и душой, монсеньор. Но предупреждаю, это будет вам дорого стоить: покойный кардинал был щедр со своими любимцами.

– Да, да, Гито, – сказал Мазарини, – кардинал был великий человек, но этот-то недостаток у него был. Благодарю вас, Гито, я воспользуюсь вашим советом, и притом сегодня же.

Оба собеседника подошли в это время ко двору Пале-Рояля; кардинал движением руки отпустил Гито и, заметив офицера, шагавшего взад и вперед по двору, подошел к нему.

Это был д'Артаньян, ожидавший кардинала по его приказанию.

³ Клянусь Вакхом! (ит.)

– Пойдемте ко мне, господин д'Артаньян, – проговорил Мазарини самым приятным голосом, – у меня есть для вас поручение.

Д'Артаньян поклонился, прошел вслед за кардиналом по потайной лестнице и через минуту очутился в кабинете, где уже побывал в этот вечер.

Кардинал сел за письменный стол и набросал несколько строк на листке бумаги.

Д'Артаньян стоял и ждал бесстрастно, без нетерпения и любопытства, словно военный автомат, готовый к действию или, вернее, к выполнению чужой воли.

Кардинал сложил записку и запечатал ее своей печатью.

– Господин д'Артаньян, – сказал он, – доставьте немедленно этот ордер в Бастилию и привезите оттуда человека, о котором здесь говорится. Возьмите карету и конвой да хорошенько смотрите за узником.

Д'Артаньян взял письмо, отдал честь, повернулся налево кругом, не хуже любого сержанта на ученье, вышел из кабинета, и через мгновение послышался его отрывистый и спокойный голос:

– Четырех конвойных, карету, мою лошадь.

Через пять минут колеса кареты и подковы лошадей застучали по мостовой.

Глава III

Два старинных врага

Когда д'Артаньян подъехал к Бастилии, пробило половину девятого.

Он велел доложить о себе коменданту тюрьмы, который, узнав, что офицер приехал с приказом от кардинала и по его повелению, вышел встречать посланца на крыльцо.

Комендантом Бастилии был в то время г-н дю Трамбле, брат грозного любимца Ришелье, знаменитого капуцина Жозефа, прозванного Серым Кардиналом.

Когда во времена заключения в Бастилии маршала Бассомпьера, просидевшего ровно двенадцать лет, его товарищи по несчастью, мечтая о свободе, говорили, бывало, друг другу: «Я выйду тогда-то», «А я тогда-то», – Бассомпьер заявлял: «А я, господа, выйду тогда, когда выйдет и господин дю Трамбле». Он намекал на то, что после смерти кардинала дю Трамбле неминуемо потеряет свое место в Бастилии, тогда как он, Бассомпьер, займет свое – при дворе.

Его предсказание едва не исполнилось, только в другом смысле, чем он думал; после смерти кардинала, вопреки общему ожиданию, все осталось по-прежнему: г-н дю Трамбле не ушел, и Бассомпьер тоже чуть не просидел в Бастилии до конца своей жизни.

Господин дю Трамбле все еще был комендантом Бастилии, когда д'Артаньян явился туда, чтобы выполнить приказ министра. Он принял его с изысканной вежливостью; и так как он собирался как раз сесть за стол, то пригласил и д'Артаньяна отужинать вместе.

– Я и рад бы, – сказал д'Артаньян, – но, если не ошибаюсь, на конверте стоит надпись: *«Очень спешное»*.

– Это правда, – сказал дю Трамбле. – Эй, майор, пусть приведут номер двести пятьдесят шесть.

Вступая в Бастилию, узник переставал быть человеком и становился номером.

Д'Артаньян невольно вздрогнул, услышав звон ключей; ему не захотелось даже сойти с лошади, когда он увидел вблизи забранные решетками окна и гигантские стены, на которые он глядел раньше только с той стороны рва и которые однажды так напугали его лет двадцать тому назад.

Раздался удар колокола.

– Я должен вас оставить, – сказал ему дю Трамбле, – меня зовут подписать пропуск заключенному. До свидания, господин д'Артаньян.

– Черт меня побери, если я захочу еще раз с тобой свидеться! – проворчал д'Артаньян, сопровождая это проклятие самой сладкой улыбкой. – Довольно пробыть в этом дворе пять минут, чтобы заболеть. Я согласен лучше умереть на соломе, что, вероятно, и случится со мной, чем получать десять тысяч ливров и быть комендантом Бастилии.

Едва он закончил этот монолог, как появился узник. Увидев его, д'Артаньян невольно вздрогнул от удивления, но тотчас же подавил свои чувства. Узник сел в карету, видимо, не узнав д'Артаньяна.

– Господа, – сказал д'Артаньян четверем мушкетерам, – мне предписан строжайший надзор за узником, а так как дверцы кареты без замков, то я сяду с ним рядом. Лильбон, окажите любезность, поведите мою лошадь на поводу.

– Охотно, лейтенант, – ответил тот, к кому он обратился.

Д'Артаньян спешился, отдал повод мушкетеру, сел рядом с узником и голосом, в котором нельзя было расслышать ни малейшего волнения, приказал:

– В Пале-Рояль, да рысью.

Как только карета тронулась, д'Артаньян, пользуясь темнотой, царившей под сводами, где они проезжали, бросился на шею пленнику.

– Рошфор! – воскликнул он. – Вы! Это действительно вы! Я не ошибаюсь!

– Д'Артаньян! – удивленно воскликнул Рошфор.

– Ах, мой бедный друг! – продолжал д'Артаньян. – Не видя вас пятый год, я думал, что вы умерли.

– По-моему, – ответил Рошфор, – мало разницы между мертвым и погребенным, а меня уже похоронили или все равно что похоронили.

– За какое же преступление вы в Бастилии?

– Сказать вам правду?

– Да.

– Ну так вот: я не знаю.

– Вы мне не доверяете, Рошфор!

– Да нет же, клянусь честью! Ведь невозможно, чтобы я действительно сидел за то, в чем меня обвиняют.

– В чем же?

– В ночном грабеже.

– Вы ночной грабитель! Рошфор, вы шутите.

– Я вас понимаю. Это требует пояснения, не правда ли?

– Признаюсь.

– Дело было так: однажды вечером, после попойки у Рейнара, в Тюильри, с Фонтралем, де Рие и другими, герцог д'Аркур предложил пойти на Новый мост срывать плащи с прохожих; это развлечение, как вы знаете, вошло в большую моду с легкой руки герцога Орлеанского.

– В ваши-то годы! Да вы с ума сошли, Рошфор!

– Нет, попросту я был пьян; но все же эту забаву я счел для себя негожей и предложил шевалье де Рие быть вместе со мной зрителем, а не актером и, чтобы видеть спектакль как из ложи, влезть на конную статую. Сказано – сделано. Благодаря шпорам бронзового всадника, послужившим нам стременами, мы мигом взобрались на круп, устроились отлично и видели все превосходно. Уж пять плащей было сдернуто, и так ловко, что никто даже пикнуть не посмел, как вдруг один менее покладистый дуралей вздумал закричать: «Караул!» – и патруль стрелков тут как тут. Герцог д'Аркур, Фонтраль и другие убежали; де Рие тоже хотел удрать. Я его стал удерживать; говорю, что никто нас здесь не заметит; не тут-то было, не слушает, стал слезать, ступил на шпору, шпора пополам, он свалился, сломав себе ногу, и, вместо того чтобы молчать, стал вопить благим матом. Тут уж и я соскочил, но было поздно. Я попал в руки стрелков, которые отвезли меня в Шатле, где я и заснул преспокойно в полной уверенности, что назавтра выйду оттуда. Но миновал день, другой, целая неделя. Пишу кардиналу. Тотчас за мной приходят, отвозят в Бастилию, и вот я здесь пять лет. За что? Должно быть, за дерзость, за то, что сел на коня позади Генриха Четвертого, как вы думаете?

– Нет, вы правы, мой дорогой Рошфор, конечно, не за это. Но вы, по всей вероятности, сейчас узнаете, за что вас посадили.

– Да, кстати, я и забыл спросить вас: куда вы меня везете?

– К кардиналу.

– Что ему от меня нужно?

– Не знаю, я даже не знал, что меня послали именно за вами.

– Вы фаворит кардинала? Нет, это невозможно!

– Я фаворит! – воскликнул д'Артаньян. – Ах, мой несчастный граф! Я и теперь такой же неимущий гасконец, как двадцать два года тому назад, когда, помните, мы встретились в Менге.

Тяжелый вздох dokonчил его фразу.

– Однако же вам дано поручение...

– Потому что я случайно оказался в передней и кардинал обратился ко мне, как обратился бы ко всякому другому; нет, я все еще лейтенант мушкетеров, и, если не ошибаюсь, уж двадцать первый год.

– Однако с вами не случилось никакой беды; это не так-то мало.

– А какая беда могла бы со мной случиться? Есть латинский стих (я его забыл, да, пожалуй, никогда и не знал твердо): «Молния не ударяет в долины». А я долина, дорогой Рошфор, и одна из самых низких.

– Значит, Мазарини по-прежнему Мазарини?

– Больше чем когда-либо, мой милый; говорят, он муж королевы.

– Муж!

– Если он не муж ее, то уж наверное любовник.

– Устоять против Бекингэма и сдать Мазарини!

– Таковы женщины! – философски заметил д'Артаньян.

– Женщины – пусть их; но королевы!..

– Ах, бог ты мой, в этом отношении королевы – женщины вдвойне.

– А герцог Бофор все еще в тюрьме?

– По-прежнему. Почему вы об этом спрашиваете?

– Потому что он был хорош со мной и мог бы мне помочь.

– Вы-то, вероятно, сейчас ближе к свободе; скорее, вы поможете ему.

– Значит, война?

– Будет.

– С Испанией?

– Нет, с Парижем.

– Что вы хотите сказать?

– Слышите ружейные выстрелы?

– Да. Так что же?

– Это мирные горожане тешатся в ожидании серьезного дела.

– Вы думаете, они на что-нибудь способны?

– Они подают надежды, и если бы у них был предводитель, который бы их объединил...

– Какое несчастье быть взаперти!

– Бог ты мой! Да не отчаивайтесь. Уж если Мазарини послал за вами, значит, он в вас нуждается; а если он в вас нуждается, то смею вас поздравить. Вот во мне, например, уже давно никто не нуждается, и сами видите, до какого положения это меня довело.

– Вот еще, вздумали жаловаться!

– Слушайте, Рошфор, заключим договор...

– Какой?

– Вы знаете, что мы хорошие друзья.

– Черт возьми! Эта дружба оставила следы на моем теле: три удара шпаги.

– Ну, так если вы опять будете в милости, не забудьте меня.

– Честное слово Рошфора, но с тем, что и вы сделаете то же.

– Непременно, вот вам моя рука.

– Итак, как только вам представится случай поговорить обо мне...

– Я поговорю. А вы?

– Я тоже. А ваши друзья, о них тоже нужно позаботиться?

– Какие друзья?

– Атос, Портос и Арамис. Разве вы забыли о них?

– Почти.

– Что с ними случилось?

– Совсем не знаю.

– Неужели?

– Клянусь, что так. Как вы знаете, мы расстались. Они живы – вот все, что мне известно. Иногда получаю от них вести стороной. Но где они, хоть убейте, не могу вам сказать. Честное слово! Из всех моих друзей остались только вы, Рошфор.

– А знаменитый... как его звали, того малого, которого я произвел в сержанты Пьемонтского полка?

– Планше?

– Вот, вот! Что же случилось со знаменитым Планше?

– Он женился на хозяйке кондитерской с улицы Менял; он всегда любил сласти; и так как он сейчас парижский буржуа, то, по всей вероятности, участвует в бунте. Вы увидите, что этот плут будет городским старшиной раньше, чем я капитаном.

– Полноте, милый д'Артаньян, не унывайте! Как раз в тот миг, когда находишься в самом низу, колесо поворачивается и поднимает тебя вверх. Может быть, с сегодняшнего же вечера ваша судьба изменится.

– Аминь! – сказал д'Артаньян и остановил карету.

– Что вы делаете? – спросил Рошфор.

– Мы приехали, а я не хочу, чтобы видели, как я выхожу из кареты: мы с вами незнакомы.

– Вы правы. Прощайте.

– До свидания; помните ваше обещание.

Д'Артаньян вскочил на лошадь и поскакал впереди.

Минут пять спустя они въехали во двор Пале-Рояля.

Д'Артаньян повел узника по большой лестнице через приемную в коридор. Дойдя до дверей кабинета Мазарини, он уже хотел велеть доложить о себе, когда Рошфор положил ему руку на плечо.

– Д'Артаньян, – сказал Рошфор, улыбаясь, – признаться вам, о чем я думал всю дорогу, когда мы проезжали среди толпы горожан, бросавших злобные взгляды на вас и ваших четырех солдат?

– Скажите, – ответил д'Артаньян.

– Я думал, что мне стоило только крикнуть: «Помогите!», и вы с вашим конвоем были бы разорваны в клочья, а я был бы на свободе.

– Почему же вы этого не сделали? – сказал д'Артаньян.

– Да что вы! – возразил Рошфор. – А наша клятва и дружба? Если бы не вы, а кто-нибудь другой вез меня, тогда...

Д'Артаньян опустил голову.

«Неужели Рошфор стал лучше меня?» – подумал он и велел доложить о себе министру.

– Введите господина Рошфора, – раздался нетерпеливый голос Мазарини, едва эти два имени были названы, – и попросите лейтенанта д'Артаньяна подождать: он мне еще нужен.

Д'Артаньян просиял от этих слов. Как он только что говорил, он уже давно никому не был нужен, и приказ Мазарини показался ему добрым предзнаменованием.

Что до Рошфора, то его эти слова заставили насторожиться. Он вошел в кабинет и увидел Мазарини за письменным столом, в скромном платье, почти таком же, как у аббатов того времени, – только чулки и плащ были фиолетовые.

Дверь снова закрылась. Рошфор искоса взглянул на Мазарини, и их взгляды встретились.

Министр был все такой же, причесанный, завитой, надушенный, и благодаря своему кокетству казался моложе своих лет. Этого нельзя было сказать о Рошфоре: пять лет, проведенные в тюрьме, состарили достойного друга Ришелье; его черные волосы совсем побелели, а бронзовый цвет лица сменился почти болезненной бледностью – так он был изнурен. При виде его Мазарини слегка покачал головой, словно желая сказать: «Вот человек, который, кажется, уже больше ни на что не пригоден». После довольно продолжительного молчания, которое

Рошфору показалось бесконечным, Мазарини вытащил из пачки бумаг развернутое письмо и показал его Рошфору.

– Я нашел здесь это письмо, в котором вы просите возвратить вам свободу. Разве вы в тюрьме?

Рошфор вздрогнул от гнева.

– Мне кажется, вашему преосвященству это известно лучше, чем кому бы то ни было другому, – ответил он.

– Мне? Нисколько! В Бастилии множество людей, которых посадили еще при кардинале Ришелье и даже имена которых мне неизвестны.

– Но со мной дело другое, монсеньор, мое-то имя вы знали, ведь именно по приказу вашего преосвященства я был переведен из Шатле в Бастилию.

– Вы так полагаете?

– Я знаю наверное.

– Да, припоминаю, действительно. Не отказались ли вы некогда съездить в Брюссель по делу королевы?

– А! – сказал Рошфор. – Так вот настоящая причина? А я пять лет ломал себе голову. Какой же я глупец, что не догадался!

– Но я вовсе не говорю, что это причина вашего ареста. Поймите меня, я спрашиваю вас, только и всего: не отказались ли вы ехать в Брюссель по делу королевы, тогда как раньше согласились ехать туда по делу покойного кардинала?

– Как раз по той причине, что я ездил туда по делам покойного кардинала, я не мог поехать туда же по делам королевы. Я был в Брюсселе в тяжелую минуту. Это было во время заговора Шале. Я должен был перехватить переписку Шале с эрцгерцогом, и меня, узнав там, чуть не разорвали на куски. Как же я мог туда вернуться? Я погубил бы королеву, вместо того чтобы оказать ей услугу.

– Ну вот видите, как иногда лучшие намерения истолковываются в дурную сторону, мой дорогой Рошфор! Королева увидела в вашем отказе только отказ, простой и ясный: ее величество имела много причин быть вами недовольной при покойном кардинале!

Рошфор презрительно улыбнулся:

– Вы могли бы понять, монсеньор, что раз я хорошо служил Ришелье против королевы, то именно поэтому я мог бы отлично служить вам против всего света после смерти кардинала.

– Нет, Рошфор, – сказал Мазарини, – я не таков, как Ришелье, стремившийся к единовластию: я простой министр, который не нуждается в слугах, будучи сам слугой королевы. Вы знаете, что ее величество очень обидчива: услышав о вашем отказе, она прочла в нем объявление войны, и, помня, какой вы сильный, а значит, и опасный человек, мой дорогой Рошфор, она приказала мне обезвредить вас. Вот каким образом вы очутились в Бастилии.

– Ну что ж, монсеньор, мне кажется, – сказал Рошфор, – что если я попал в Бастилию по недоразумению...

– Да, да, – перебил Мазарини, – все еще можно исправить; вы человек, способный понять известные дела и, разобравшись в этих делах, с успехом довести их до конца.

– Такого мнения держался кардинал Ришелье, и мое восхищение этим великим человеком еще увеличивается от того, что вы разделяете его мнение.

– Это правда, – продолжал Мазарини, – кардинал был прежде всего политик, и в этом он имел большое преимущество передо мной. А я человек простой, прямодушный и этим очень врежу себе; у меня чисто французская откровенность.

Рошфор закусил губу, чтобы не улыбнуться.

– Итак, прямо к делу! Мне нужны добрые друзья, верные слуги; когда я говорю: мне нужны, это значит, что они нужны королеве. Я все делаю только по приказу королевы, вы понимаете, а не так, как кардинал Ришелье, который действовал по собственной прихоти. Потому-

то я никогда не стану великим человеком, как он, но зато я добрый человек, Рошфор, и, надеюсь, докажу вам это.

Рошфор хорошо знал этот бархатный голос, в котором по временам слышалось шипение гадюки.

– Готов вам поверить, монсеньор, – сказал он, – хотя по личному опыту мало знаком с той добротой, о которой угодно было упомянуть вашему преосвященству. Не забудьте, монсеньор, – продолжал Рошфор, заметив движение, от которого не удержался министр, – не забудьте, что я пять лет провел в Бастилии, и ничто так не искажает взгляда на вещи, как тюремная решетка.

– Ах, господин Рошфор, ведь я сказал вам, что я не повинен в вашем заключении. Все это королева... Гнев женщины и принцессы, понимаете сами! Но он быстро проходит, и тогда все забывается...

– Охотно верю, что она все забыла, проведя пять лет в Пале-Рояле, среди празднеств и придворных, но я-то провел их в Бастилии...

– Ах, боже мой, дорогой господин Рошфор, не воображайте, будто жизнь в Пале-Рояле такая уж веселая. Нет, что вы, что вы! У нас здесь тоже, уверяю вас, немало бывает неприятностей. Но довольно об этом. Я веду чистую игру, как всегда. Скажите: вы на нашей стороне, де Рошфор?

– Разумеется, монсеньор, и ничего лучшего я не желаю, но ведь я ничего не знаю о том, что делается. В Бастилии о политике приходится разговаривать лишь с солдатами да тюремщиками, а вы не представляете себе, монсеньор, как плохо эти люди осведомлены о событиях. О том, что происходило, я знаю только со слов Бассомпьера. Кстати, он все еще один из семнадцати вельмож?

– Он умер, сударь, и это большая потеря. Он был предан королеве, а преданные люди редки.

– Еще бы, – сказал Рошфор, – если и сыщутся, вы их сажаете в Бастилию.

– Но с другой стороны, – сказал Мазарини, – чем можно доказать преданность?

– Делом! – ответил Рошфор.

– Да, да, делом! – задумчиво проговорил министр. – Но где же найти людей дела?

Рошфор потрянул головой.

– В них никогда нет недостатка, монсеньор, только вы плохо ищете.

– Плохо ищете? Что вы хотите сказать этим, дорогой господин Рошфор? Поучите меня. Вас должна была многому научить дружба с покойным кардиналом. Ах, какой это был великий человек!

– Вы не рассердитесь на меня за маленькое нравоучение?

– Я? Никогда! Вы знаете, мне все можно говорить в лицо. Я стараюсь, чтобы меня любили, а не боялись.

– Монсеньор, в моей камере нацарапана гвоздем на стене одна пословица.

– Какая же это пословица? – спросил Мазарини.

– Вот она: каков господин...

– Знаю, знаю: таков лакей.

– Нет: таков слуга. Эту скромную поправку преданные люди, о которых я только что вам говорил, внесли для своего личного удовлетворения.

– Что означает эта пословица?

– Она означает, что Ришелье умел находить преданных слуг, и целыми дюжинами.

– Он? Да на него со всех сторон были направлены кинжалы! Он всю жизнь только и занимался тем, что отражал наносимые ему удары.

– Но он все же отражал их, хотя иногда это были жестокие удары. У него были злейшие враги, но были зато и преданные друзья.

– Вот их-то мне и нужно.

– Я знал людей, – продолжал Рошфор, подумав, что настала минута сдержать слово, данное д'Артаньяну, – я знал людей, которые были так ловки, что раз сто провели пронизательного кардинала; были так храбры, что одолели всех его гвардейцев и шпионов; которые без гроша, одни, без всякой помощи, сберегли корону на голове одной коронованной особы и заставили кардинала просить пощады.

– Но ведь люди, о которых вы говорите, – сказал Мазарини, усмехаясь про себя, потому что Рошфор сам заговорил о том, к чему клонил итальянец, – совсем не были преданы кардиналу, раз они боролись против него.

– Нет, потому что иначе они были бы лучше вознаграждены; к несчастью, они были преданы той самой королеве, для которой вы сейчас ищете верных слуг.

– Но откуда вы все это знаете?

– Я знаю все это потому, что эти люди в то время были моими врагами; потому, что они боролись против меня; потому, что я причинил им столько зла, сколько был в состоянии сделать; потому, что они с избытком платили мне тем же; потому, что один из них, с которым у меня были особые дела, нанес мне удар шпагой лет семь тому назад, – это был уже третий удар, полученный мною от той же руки... Этим мы закончили наконец старые счета.

– Ах, – с восхитительным простодушием вздохнул Мазарини, – как мне нужны подобные люди!

– Ну, монсеньор, один из них уже более шести лет у вас под рукой, и вы все шесть лет считали его ни на что не пригодным.

– Кто же это?

– Господин д'Артаньян.

– Этот гасконец! – воскликнул Мазарини с превосходно разыгранным удивлением.

– Этот гасконец как-то спас одну королеву и заставил самого Ришелье признать себя в делах хитрости, ловкости и изворотливости только подмастерьем.

– Неужели?

– Все так, как я сказал вашему преосвященству.

– Расскажите мне поподробней, дорогой господин де Рошфор.

– Это очень трудно, монсеньор, – ответил тот с улыбкой.

– Ну, так он сам мне расскажет.

– Сомневаюсь, монсеньор.

– Почему?

– Потому что это чужая тайна; потому что, как я сказал вам, это тайна могущественной королевы.

– И он один совершил этот подвиг?

– Нет, монсеньор, с ним были трое друзей, три храбреца, помогавших ему, три храбреца именно таких, каких вы разыскиваете...

– И эти люди были тесно связаны между собой, говорите вы?

– Связаны так, словно эти четыре человека составляли одного, словно их четыре сердца бились в одной груди. Зато чего только не натворили они вчетвером!

– Мой дорогой господин де Рошфор, вы до крайности раздражили мое любопытство. Неужели вы не можете рассказать мне эту историю?

– Нет, но я могу рассказать вам сказку, чудесную сказку, монсеньор.

– О, расскажите же, господин де Рошфор! Я ужасно люблю сказки.

– Вы этого хотите, монсеньор? – сказал Рошфор, стараясь прочесть истинные намерения на этом хитром, лукавом лице.

– Да.

– В таком случае извольте. Жила-была королева... могущественная королева, владеющая одним из величайших в мире государств. Один великий министр хотел ей сделать очень много зла, потому что прежде слишком желал ей добра. Не трудитесь, монсеньор, вы все равно не угадаете имен. Все это происходило задолго до того, как вы явились в государство, где царствовала эта королева. И вот является ко двору посланник, такой красивый, богатый, изящный, что все женщины сходили по нем с ума, и даже сама королева имела неосторожность подарить ему, – без сомнения, на память о том, как он исполнял свои дипломатические поручения, – такое замечательное украшение, которое ничем нельзя было заменить. Так как оно было подарено ей королем, то министр внушил последнему, чтобы он приказал королеве явиться на ближайший бал в этом украшении. Ну, монсеньор, министр, конечно, знал из достоверных источников, что украшение было у посланника, а сам посланник уехал уже далеко-далеко за синие моря. Великая королева была на краю гибели, как последняя из своих подданных. Она должна была пасть с высоты своего величия.

– Еще бы! – сказал Мазарини.

– Так вот, монсеньор, четыре человека решили спасти ее. Эти четыре человека не были ни принцы, ни герцоги, ни люди влиятельные, ни даже богачи: это были четыре солдата, у которых не было ничего, кроме храброго сердца, сильной руки и длинной шпаги. Они отправились в путь. Министр знал об их отъезде и расставил повсюду людей, чтобы помешать им достигнуть цели. Трое из них были выведены из строя врагами, гораздо более многочисленными, чем они; но один добрался до порта, убил или ранил пытавшихся его задержать, переплыл море и привез королеве украшение, которое она в назначенный день могла приколоть к своему плечу. Это чуть не погубило министра. Что вы скажете об этом подвиге, монсеньор?

– Великолепно! – проговорил Мазарини задумчиво.

– Я знаю за ним еще десяток таких дел.

Мазарини не отвечал: он размышлял.

Прошло несколько минут.

– У вас ко мне нет больше вопросов, монсеньор? – спросил Рошфор.

– Так д'Артаньян был одним из этих четырех людей, говорите вы?

– Он-то и вел все дело.

– А кто были другие?

– Монсеньор, позвольте мне предоставить д'Артаньяну самому назвать их вам. Это были его друзья, а не мои; он один только был связан с ними, а я даже не знаю их настоящих имен.

– Вы мне не доверяете, дорогой господин де Рошфор. Ну, все равно, я буду откровенен до конца: мне нужны вы, нужен он, нужны все.

– Начинайте с меня, монсеньор, раз вы послали за мной и я здесь, а потом уж вы займетесь ими. Не удивляйтесь моему любопытству. Проведя пять лет в тюрьме, станешь беспокоиться, куда тебя пошлют.

– Вы будете моим доверенным лицом, дорогой господин де Рошфор. Вы поедете в Венсен, где заключен герцог Бофор, и будете стеречь его, не спуская глаз. Как! Вы, кажется, недвольны?

– Вы предлагаете мне невозможное, – ответил разочарованный Рошфор, повесив голову.

– Как – невозможное? Почему же это невозможно?

– Потому, что герцог Бофор мой друг; или, вернее, я один из его друзей; разве вы забыли, монсеньор, что он ручался за меня королеве?

– Герцог Бофор стал с тех пор врагом государства.

– Я это допускаю, монсеньор; но так как я не король, не королева и не министр, то мне он не враг, и я не могу принять ваше предложение.

– Так вот что вы называете преданностью! Поздравляю вас. Ваша преданность к немногому вас обязывает, господин Рошфор.

– И затем, монсеньор, вы сами понимаете, что выйти из Бастилии для того, чтобы перебраться в Венсен, значит, только переменить одну тюрьму на другую.

– Скажите сразу, что вы принадлежите к партии Бофора, – это будет по крайней мере откровенно с вашей стороны.

– Монсеньор, я так долго сидел взаперти, что теперь хочу примкнуть только к одной партии, к партии свежего воздуха. Пошлите меня с поручением куда хотите, назначьте мне какое угодно дело, но в чистом поле, если возможно.

– Мой милый господин де Рошфор, – сказал насмешливо Мазарини, – вы увлекаетесь в своем усердии. Вы все еще воображаете себя молодым, благо сердце ваше еще молодо; но сил у вас не хватит. Поверьте мне: все, что вам теперь нужно, – это отдых. Эй, кто-нибудь!

– Итак, вы ничего не решили насчет меня, монсеньор?

– Напротив, я уже решил.

Вошел Бернуин.

– Позовите стражника, – сказал он, – и будьте подле меня, – прибавил он шепотом.

Вошел стражник. Мазарини написал несколько слов и отдал записку, потом, кивнув головой, сказал:

– Прощайте, господин де Рошфор.

Рошфор почтительно поклонился.

– Кажется, монсеньор, – сказал он, – меня опять отвезут в Бастилию?

– Вы очень догадливы.

– Я возвращаюсь туда, монсеньор, но, повторяю, вы делаете большую ошибку, не воспользовавшись мной.

– Вами, другом моих врагов!

– Что прикажете делать? Вам следовало сделать меня врагом ваших врагов.

– Уж не думаете ли вы, господин де Рошфор, что вы один на свете? Уверю вас, я найду людей получше вас.

– Желаю вам удачи, монсеньор.

– Хорошо, ступайте, ступайте. Кстати: бесполезно писать мне, господин де Рошфор, – ваши письма все равно затеряются.

– Оказывается, я таскал каштаны из огня для других, а не для себя, – проворчал, выходя, Рошфор. – Уж если д'Артаньян не останется мной доволен, когда я расскажу ему сейчас, как расхвалил его, то, значит, трудно ему угодить. Черт, куда это меня ведут?

Действительно, Рошфора повели по узенькой лестнице, вместо того чтобы провести через приемную, где ожидал д'Артаньян. На дворе он увидел карету и четырех конвойных, но между ними не было его друга.

«Ах так! – подумал Рошфор. – Это придаст делу совсем другой оборот. И если на улицах все так же много народу, то мы постараемся доказать Мазарини, что мы, слава богу, еще способны на нечто лучшее, нежели сторожить заключенных».

И он так легко вскочил в карету, словно ему было двадцать пять лет.

Глава IV

Анна Австрийская в сорок шесть лет

Оставшись вдвоем с Бернуином, Мазарини просидел несколько минут в раздумье; теперь он знал многое, однако еще не все. Мазарини плутовал в игре; как удостоверяет Бриенн, он называл это «использовать свои преимущества». Он решил начать партию с д'Артаньяном не раньше, чем узнает все карты противника.

– Что прикажете? – спросил Бернуин.

– Посвети мне, – сказал Мазарини, – я пойду к королеве.

Бернуин взял подсвечник и пошел вперед.

Потайной ход соединял кабинет Мазарини с покоем королевы; этим коридором кардинал в любое время проходил к Анне Австрийской.

Дойдя по узкому проходу до спальни королевы, Бернуин увидел там г-жу Бове. Она и Бернуин были поверенными этой поздней любви. Г-жа Бове пошла доложить о кардинале Анне Австрийской, которая находилась в своей молельне с юным королем Людовиком XIV.

Анна Австрийская сидела в большом кресле, опершись локтем на стол, и, склонив голову на руку, смотрела на царственного ребенка, который, лежа на ковре, перелистывал толстую книгу о войнах и битвах. Анна Австрийская была королевой, умевшей скучать с царственным величием; иногда она на целые часы уединялась в своей спальне или молельне и сидела там, не читая и не молясь.

В руках короля был Квинт Курций, история Александра Македонского, с гравюрами, изображающими его великие дела.

Г-жа Бове с порога молельни доложила о кардинале Мазарини.

Ребенок приподнялся на одно колено, нахмурил брови и спросил у матери:

– Почему он входит, не испросив аудиенции?

Анна слегка покраснела.

– В такое трудное время, как теперь, – сказала она, – нужно, чтобы первый министр мог в любой час докладывать королеве обо всем, что творится, не возбуждая любопытства и пересудов придворных.

– Но Ришелье, кажется, так не входил, – настаивал ребенок.

– Как вы можете знать, что делал Ришелье? Вы были тогда совсем маленьким, вы не можете этого помнить.

– Я и не помню, но я спрашивал других, и мне так сказали.

– А кто вам это сказал? – спросила Анна с плохо скрытым неудовольствием.

– Кто? Я знаю, что не надо никогда называть тех, кто отвечает на мои расспросы, – ответил ребенок, – не то мне никто больше ничего не скажет.

В эту минуту вошел Мазарини. Король встал, захлопнул книгу и, положив ее на стол, продолжал стоять, чтобы заставить стоять и кардинала.

Мазарини зорко наблюдал эту сцену, пытаясь на основании ее разгадать предшествующую. Он почтительно склонился перед королевой и отвесил королю низкий поклон, на который тот ответил довольно небрежным кивком головы. Но взгляд матери упрекнул его за это проявление ненависти, которою Людовик XIV с детства проникся к кардиналу, и, в ответ на приветствие министра, он заставил себя улыбнуться.

Анна Австрийская старалась прочесть в лице Мазарини причину его непредвиденного посещения; обычно кардинал приходил к ней, лишь когда она оставалась одна.

Министр сделал едва заметный знак головой. Королева обратилась к г-же Бове.

– Королю пора спать, – сказала она. – Позовите Ла Порта.

Королева уже раза два или три напоминала маленькому Людовику, что ему время уходить, но ребенок ласково просил позволения остаться еще. На этот раз он ничего не сказал, только закусил губу и побледнел.

Через минуту вошел Ла Порт.

Ребенок пошел прямо к нему, не поцеловав матери.

– Послушайте, Луи, почему вы не простились со мной? – спросила Анна.

– Я думал, что вы на меня рассердились, ваше величество: вы меня прогоняете.

– Я не гоню вас, но у вас только что кончилась ветряная оспа, вы еще не совсем оправились, и я боюсь, что вам трудно засиживаться поздно.

– Не боялись же вы, что мне будет трудно сегодня идти в парламент и подписывать эти злосчастные указы, которыми народ так недоволен.

– Государь, – сказал Ла Порт, чтобы переменить разговор, – кому прикажете передать подсвечник?

– Кому хочешь, Ла Порт, лишь бы не Манчини, – ответил ребенок громко.

Манчини был маленький племянник кардинала, определенный им к королю; последний и на него перенес часть своей ненависти к министру.

Король вышел, не поцеловав матери и не простившись с кардиналом.

– Вот это хорошо! – сказал Мазарини. – Приятно видеть, что в короле воспитывают отвращение к притворству.

– Что это значит? – почти робко спросила королева.

– Мне кажется, что уход короля не требует пояснений; вообще его величество не дает себе труда скрывать, как мало он меня любит. Впрочем, это не мешает мне быть преданным ему, как и вашему величеству.

– Прошу вас извинить его, кардинал: он еще ребенок и не понимает, сколь многим вам обязан.

Кардинал улыбнулся.

– Но, – продолжала королева, – вы, без сомнения, пришли по какому-нибудь важному делу? Что случилось?

Мазарини сел или, вернее, развалился в широком кресле и сказал печально:

– Случилось то, что, по всей вероятности, мы будем вынуждены вскоре разлучиться, если, конечно, вы не решитесь из дружбы последовать за мной в Италию.

– Почему? – спросила королева.

– Потому что, как поется в опере «Тисба», – отвечал Мазарини, —

Весь мир враждебен нашей страсти нежной.

– Вы шутите, сударь! – сказала королева, пытаясь придать своему голосу хоть немного прежнего величия.

– Увы, ваше величество, я вовсе не шучу, – ответил Мазарини. – Поверьте мне, я скорее готов плакать; и есть о чем, потому что, как я уже вам сказал:

Весь мир враждебен нашей страсти нежной.

А так как и вы часть этого мира, то, значит, вы тоже покидаете меня.

– Кардинал!

– Ах, боже мой, разве я не видел, как вы на днях приветливо улыбались герцогу Орлеанскому или, вернее, тому, что он говорил вам?

– А что же он мне говорил?

– Он говорил вам, ваше величество: «Ваш Мазарини – камень преткновения. Удалите его, и все будет хорошо».

– Чего же вы от меня хотите?

– О, ваше величество! Вы ведь королева, насколько я знаю.

– Хороша королевская власть! Тут распоряжается любой писарь из Пале-Рояля, любой дворянчик!

– Однако вы достаточно сильны для того, чтобы удалять от себя людей, которые вам не нравятся.

– Скажем лучше, не нравятся вам! – воскликнула королева.

– Мне?

– Конечно! Не вы ли удалили госпожу де Шеврез, которая двенадцать лет терпела гонения в прошлое царствование?

– Интриганка! Ей хотелось продолжать против меня козни, начатые против Ришелье.

– А кто удалил госпожу Отфор, мою верную подругу, которая отвергла ухаживания короля, чтобы только сохранить мое расположение?

– Ханжа. Она каждый вечер, раздевая вас, твердила, что вы губите свою душу, любя священника, как будто кардинал и священник одно и то же.

– Кто велел арестовать Бофора?

– Бофор – мятежник, который так прямо и говорил, что надо убить меня!

– Вы отлично знаете, кардинал, – сказала королева, – что ваши враги – мои враги.

– Этого мало, ваше величество. Надо еще, чтобы ваши друзья были и моими друзьями.

– Мои друзья... – покачала королева головой. – Увы! У меня нет больше друзей.

– Как может не быть друзей в счастье, когда они были у вас в дни ваших невзгод?

– Потому что я в счастье забыла своих друзей. Я поступила, как Мария Медичи, которая, возвратясь из первого своего изгнания, презрела пострадавших за нее, а потом, изгнанная вторично, умерла в Кельне, оставленная всеми, даже собственным сыном, потому что теперь все ее презирали, в свою очередь.

– Но быть может, еще есть время, – сказал Мазарини, – исправить ошибку? Поищите между вашими прежними друзьями.

– Что вы хотите сказать?

– Только то, что сказал: поищите.

– Увы, сколько я ни смотрю вокруг себя, я не вижу никого, кем я могла бы располагать. Дядей короля, герцогом Орлеанским, как всегда, управляет фаворит: вчера это был Шуази, сегодня Ла Ривьер, завтра кто-нибудь другой. Принц Конде послушно идет за своим коадьютором, а тот – за госпожою де Гемене.

– Но я вам советовал искать среди прежних, а не среди нынешних друзей.

– Прежних? – повторила королева.

– Да, например, среди тех, которые помогали вам бороться с Ришелье и даже побеждать его...

«На что он намекает?» – подумала королева, с опаской поглядывая на кардинала.

– Да, – продолжал он, – при некоторых обстоятельствах, с помощью друзей вы умели, пользуясь тонким и сильным умом, присущим вашему величеству, отражать нападения этого противника.

– Я?! – воскликнула королева. – Я терпела, и только.

– Да, – сказал кардинал, – терпели, подготавливая месть, как истинная женщина. Но перейдем к делу. Помните вы Рошфора?

– Рошфор не был в числе моих друзей: напротив, он мой заядлый враг, верный слуга кардинала. Я думала, что это вам известно.

– Настолько хорошо известно, – ответил Мазарини, – что мы приказали засадить его в Бастилию.

– Он вышел оттуда? – спросила королева.

– Будьте покойны, он и теперь там; я заговорил о нем только для того, чтобы перейти к другому. Знаете ли вы д'Артаньяна? – спросил Мазарини, глядя на королеву в упор.

Удар пришелся в самое сердце.

– Неужели гасконец проболтался? – прошептала Анна Австрийская. Потом прибавила громко: – Д'Артаньян? Подождите, да, в самом деле, это имя мне знакомо. Д'Артаньян, мушкетер, который любил одну из моих камеристок? Ее, бедняжку, потом отравили.

– Только и всего? – сказал Мазарини.

Королева удивленно посмотрела на кардинала:

– Но, кардинал, кажется, вы подвергаете меня допросу?

– Во всяком случае, – сказал Мазарини со своей вечной улыбкой, все тем же сладким тоном, – в вашей воле ответить мне или нет.

– Изложите свои пожелания ясно, и я отвечу на них так же, – начала терять терпение королева.

– Ваше величество, – сказал Мазарини, кланяясь, – я желаю, чтобы вы поделились со мной вашими друзьями, как я поделился с вами теми немногими знаниями и способностями, которыми небо наградило меня. Положение осложняется, и надо действовать решительно.

– Опять! – сказала королева. – Я думала, что мы с этим покончили, отделившись от Бофора.

– Да, вы смотрели только на поток, который грозил смыть все на пути, и не оглянулись на стоячую воду. А между тем есть французская поговорка о тихом омуте.

– Дальше, – сказала королева.

– Я каждый день терплю оскорбления от ваших принцев и титулованных лакеев, от всяких марионеток, которые не видят, что в моей руке все нити к ним, и не догадываются, что за моим терпеливым спокойствием таится гнев человека, который поклялся в один прекрасный день одолеть их. Правда, мы арестовали Бофора, но из них всех он был наименее опасен. Ведь остается еще принц Конде...

– Победитель при Рокруа! Арестовать его?

– Да, ваше величество, я частенько об этом думаю, но, как говорим мы, итальянцы, *pazienz*.⁴ А кроме Конде придется взять герцога Орлеанского.

– Что вы такое говорите? Первого принца крови, дядю короля!

– Нет, не первого принца крови и не дядю короля, но подлого заговорщика, который в прошлое царствование, подстрекаемый своим капризным и вздорным характером, снедаемый скукой, разжигаемый низким честолюбием, завидуя тем, кто превосходит его благородством, храбростью, и злясь на собственное ничтожество, именно по причине своего ничтожества сделался отголоском всех злонамеренных толков, душой всяких заговоров, подстрекателем смельчаков, которые имели глупость поверить слову человека царственной крови и от которых он отсекся, когда они оказались на эшафоте. Нет, я говорю не о принце крови и не о дяде короля, а об убийце Шале, Монморанси и Сен-Марса, который в настоящую минуту пытается сыграть опять ту же штуку и воображает, что он одержит верх, потому что у него переменялся противник, потому что теперь перед ним человек, предпочитающий не угрожать, а улыбаться. Но он ошибается. Он только проиграл со смертью Ришелье, и не в моих интересах оставлять подле королевы этот источник всех раздоров, человека, с помощью которого старый кардинал двадцать лет успешно растревлял желчь покойного короля.

⁴ Терпение (*ит.*).

Анна покраснела и закрыла лицо руками.

– Я несколько не желаю унижать ваше величество, – продолжал Мазарини более спокойным, но зато удивительно твердым голосом. – Я хочу, чтобы уважали королеву и уважали ее министра, потому что в глазах всех людей я не более как министр. Вашему величеству известно, что я не пройдоха-итальянец, как многие меня называют. Необходимо, чтобы это знал весь мир так же, как знает ваше величество.

– Хорошо. Что же я должна сделать? – сказала Анна Австрийская, подчиняясь этому властному голосу.

– Вы должны припомнить имена тех верных, преданных людей, которые переплыли море вопреки воле Ришелье и, оставляя на пути следы собственной крови, привезли вашему величеству одно украшение, которое вам угодно было дать Бекингэму.

Анна величаво и гневно поднялась, словно под действием стальной пружины, и, глядя на кардинала с гордым достоинством, делавшим ее такой могущественной в дни молодости, сказала:

– Вы меня оскорбляете!

– Я хочу, – продолжал Мазарини, доканчивая свою мысль, прерванную движением королевы, – чтобы вы сейчас сделали для вашего мужа то, что вы сделали когда-то для вашего любовника.

– Опять эта клевета! – воскликнула королева. – Я думала, что она умерла или заглохла, так как вы до сих пор избавляли меня от нее. Но вот вы тоже ее повторяете. Тем лучше. Объяснимся сегодня и кончим раз навсегда, слышите?

– Но, ваше величество, – произнес Мазарини, удивленный этим неожиданным проблеском силы, – я вовсе не требую, чтобы вы мне рассказали все.

– А я хочу вам все рассказать, – ответила Анна Австрийская. – Слушайте же. Были в то время действительно четыре преданных сердца, четыре благородные души, четыре верные шпаги, которые спасли мне больше чем жизнь: они спасли мою честь.

– А! Вы сознаетесь в этом? – сказал Мазарини.

– Неужели, по-вашему, только виновный может трепетать за свою честь? Разве нельзя обесчестить кого-нибудь, особенно женщину, на основании одной лишь видимости? Да, все было против меня, и я неизбежно должна была лишиться чести, а между тем, клянусь вам, я не была виновна. Клянусь...

Королева стала искать вокруг себя какой-нибудь священный предмет, на котором она могла бы поклясться; она вынула из потайного стенового шкафа ларчик розового дерева с серебряными инкрустациями и, поставив его на алтарь, сказала:

– Клянусь священными реликвиями, хранящимися здесь, – я любила Бекингэма, но Бекингэм не был моим любовником.

– А что это за священные предметы, на которых вы приносите клятву, ваше величество? – спросил, улыбаясь, Мазарини. – Как вам известно, я римлянин, а потому не легковерен. Бывают всякого рода реликвии.

Королева сняла с шеи маленький золотой ключик и подала его кардиналу.

– Откройте и посмотрите.

Удивленный Мазарини взял ключ, открыл ларчик и нашел в нем заржавленный нож и два письма, из которых одно было запятнано кровью.

– Что это? – спросил Мазарини.

– Что это? – повторила Анна Австрийская, царственным жестом простирая над раскрытым ларчиком руку, которую годы не лишили чудесной красоты. – Я вам сейчас скажу. Эти два письма – единственные, которые я писала ему. А это нож, которым Фелтон убил его. Прочтите письма, и вы увидите, лгу ли я.

Несмотря на полученное разрешение, Мазарини, безотчетно повинувшись чувству, вместо того чтобы прочесть письма, взял нож: его умирающий Бекингэм вынул из своей раны и через Ла Порту переслал королеве; лезвие было все источено ржавчиной, в которую обратилась кровь. Кардинал смотрел на него с минуту, и за это время королева стала бледнее полотна, покрывающего алтарь, на который она опиралась. Наконец кардинал с невольной дрожью положил нож обратно в ларчик.

– Хорошо, ваше величество, я верю вашей клятве.

– Нет, нет, прочтите, – сказала королева, нахмурив брови, – прочтите. Я хочу, я требую; я решила покончить с этим сейчас же и уже никогда больше к этому не возвращаться. Или вы думаете, – прибавила она с ужасной улыбкой, – что я стану открывать этот ларчик всякий раз, когда вы возобновите ваши обвинения?

Мазарини, подчиняясь внезапному проявлению ее воли, почти машинально прочел оба письма. В одном королева просила Бекингэма вернуть алмазные подвески; это было письмо, которое отвез д'Артаньян, оно поспело вовремя. Второе было послано с Ла Портом; в нем королева предупреждала Бекингэма, что его хотят убить, и это письмо опоздало.

– Хорошо, ваше величество, – сказал Мазарини, – на это нечего ответить.

– Нет, – заперев ларчик, сказала королева и положила на него руку, – нет, есть что ответить на это: надо сказать, что я была неблагодарна к людям, которые спасли меня и сделали все, что только могли, чтобы спасти его; и храброму д'Артаньяну я не пожаловала ничего, а только позволила ему поцеловать мою руку и подарила вот этот алмаз.

Королева протянула кардиналу свою прелестную руку и показала ему чудный камень, блиставший на ее пальце.

– Он продал его в тяжелую минуту, – заговорила она опять с легким смущением, – продал для того, чтобы спасти меня во второй раз; за вырученные деньги он послал гонца к Бекингэму с предупреждением о грозящем ему убийстве.

– Значит, д'Артаньян знал об этом?

– Он знал все. Каким образом, не понимаю. Д'Артаньян продал перстень Дезэссару; я увидела кольцо у него на руке и выкупила. Но этот алмаз принадлежит д'Артаньяну; возвратите ему перстень от меня, и так как, на ваше счастье, подле вас находится такой человек, то постарайтесь им воспользоваться.

– Благодарю вас, ваше величество, – сказал Мазарини, – я не забуду вашего совета.

– А теперь, – сказала королева, изнемогая от пережитого волнения, – что еще хотели бы вы узнать у меня?

– Ничего, ваше величество, – ответил кардинал самым ласковым голосом. – Умоляю только простить меня за несправедливое подозрение. Но я вас так люблю, что ревность моя, даже к прошлому, неувидительна.

Слабая улыбка промелькнула на губах королевы.

– Если вам не о чем больше спрашивать меня, – сказала она, – то оставьте меня. Вы понимаете, что после такого разговора мне надо побыть наедине с собой.

Мазарини поклонился:

– Я удаляюсь, ваше величество. Но позвольте мне прийти опять.

– Да, только завтра. И этого времени вряд ли будет достаточно, чтобы мне успокоиться.

Кардинал взял руку королевы, галантно поцеловал ее и вышел.

Как только он ушел, королева прошла в комнату сына и спросила Ла Порту, лег ли король. Ла Порт указал ей на спящего ребенка.

Анна Австрийская взошла на ступеньки кровати, приложила губы к нахмуренному лбу сына и поцеловала его. Потом так же тихо удалилась, сказав только камердинеру:

– Постарайтесь, пожалуйста, милый Ла Порт, чтобы король приветливей смотрел на кардинала. И король и я, мы оба многим обязаны кардиналу.

Глава V

Гасконец и итальянец

Тем временем кардинал вернулся к себе в кабинет, у дверей которого дежурил Бернуин. Мазарини спросил, нет ли каких новостей и не было ли известий из города, затем, получив отрицательный ответ, знаком приказал слуге удалиться.

Оставшись один, он встал и отворил дверь в коридор, потом в переднюю; утомленный д'Артаньян спал на скамье.

– Господин д'Артаньян! – позвал Мазарини вкрадчивым голосом.

Д'Артаньян не шелохнулся.

– Господин д'Артаньян! – позвал Мазарини громче.

Д'Артаньян продолжал спать.

Кардинал подошел к нему и пальцем коснулся его плеча.

На этот раз д'Артаньян вздрогнул, проснулся и, придя в себя, сразу вскочил на ноги, как солдат, готовый к бою.

– Я здесь. Кто меня зовет?

– Я, – сказал Мазарини с самой приветливой улыбкой.

– Прошу извинения, ваше преосвященство, – сказал д'Артаньян, – но я так устал...

– Излишне просить извинения, – сказал Мазарини, – вы устали на моей службе...

Милостивый тон министра привел д'Артаньяна в восхищение.

– Гм... – процедил он сквозь зубы, – неужели справедлива пословица, что счастье приходит во сне?

– Следуйте за мной, сударь, – сказал Мазарини.

– Так, так! – пробормотал д'Артаньян. – Рошфор сдержал слово; только куда же он, черт возьми, делся?

Он всматривался во все закоулки кабинета, но Рошфора не было нигде.

– Господин д'Артаньян, – сказал Мазарини, удобно располагаясь в кресле, – вы всегда казались мне храбрым и славным человеком.

«Возможно, – подумал д'Артаньян, – но долго же он собирался сказать мне об этом».

Это, однако, не помешало ему низко поклониться Мазарини в ответ на комплимент.

– Так вот, – продолжал Мазарини, – пришло время использовать ваши способности и достоинства.

В глазах офицера, как молния, сверкнула радость, но тотчас же погасла, так как он еще не знал, куда гнет Мазарини.

– Приказывайте, монсеньор, – сказал он, – я рад повиноваться вашему преосвященству.

– Господин д'Артаньян, – продолжал Мазарини, – в прошлое царствование вы совершали такие подвиги...

– Вы слишком добры, монсеньор, вспоминая об этом. Правда, я сражался не без успеха...

– Я говорю не о ваших военных подвигах, – сказал Мазарини, – потому что, хотя они и доставили вам славу, они превзойдены другими.

Д'Артаньян прикинулся изумленным.

– Что же вы не отвечаете?... – сказал Мазарини.

– Я ожидаю, монсеньор, когда вы соблаговолите объяснить мне, о каких подвигах вам угодно говорить.

– Я говорю об одном приключении... Да вы отлично знаете, что я хочу сказать.

– Увы, нет, монсеньор! – ответил в совершенном изумлении д'Артаньян.

– Вы скромны, тем лучше! Я говорю об истории с королевой, об алмазных подвесках, о путешествии, которое вы совершили с тремя вашими друзьями.

«Вот оно что! – подумал гасконец. – Уж не ловушка ли это? Надо держать ухо востро».

И он изобразил на своем лице такое недоумение, что ему позавидовали бы Мондори и Бельроз, два лучших актера того времени.

– Отлично! – сказал, смеясь, Мазарини. – Bravo! Недаром мне сказали, что вы именно такой человек, какой мне нужен. Ну, что бы вы сделали для меня?

– Все, монсеньор, что вы мне прикажете, – ответил д'Артаньян.

– Сделали бы вы для меня то, что когда-то сделали для некоей королевы?

«Положительно, – мелькнуло в голове д'Артаньяна, – он хочет заставить меня проговориться. Но мы поборемся. Не хитрее же он Ришелье, черт побери!»

– Для королевы, монсеньор? Я не понимаю.

– Вы не понимаете, что мне нужны вы и ваши три друга?

– Какие три друга, монсеньор?

– Те, что были у вас в прежнее время.

– В прежнее время, монсеньор, – ответил д'Артаньян, – у меня было не трое, а полсотни друзей. В двадцать лет всех считаешь друзьями.

– Хорошо, хорошо, господин офицер, – сказал Мазарини. – Скрытность – прекрасная вещь. Но как бы вам сегодня не пожалеть об излишней скрытности.

– Пифагор заставлял своих учеников пять лет хранить безмолвие, монсеньор, чтобы научить их молчать, когда это нужно.

– А вы хранили его двадцать лет. На пятнадцать лет больше, чем требовалось от философа-пифагорейца, и это кажется мне вполне достаточным. Сегодня вы можете говорить – сама королева освобождает вас от вашей клятвы.

– Королева? – спросил д'Артаньян с удивлением, которое на этот раз было непритворным.

– Да, королева! И доказательством того, что я говорю от ее имени, служит ее повеление показать вам этот алмаз, который, как ей кажется, вам известен и который она выкупила у господина Дезэссара.

И Мазарини протянул руку к лейтенанту, который вздохнул, узнав кольцо, подаренное ему королевой на балу в городской ратуше.

– Правда! – сказал д'Артаньян. – Я узнаю этот алмаз, принадлежавший королеве.

– Вы видите, что я говорю с вами от ее имени. Отвечайте же мне, не разыгрывайте комедии. Я вам уже сказал и снова повторяю: дело идет о вашей судьбе.

– Действительно, монсеньор, мне совершенно необходимо позаботиться о своей судьбе. Вы, ваше преосвященство, так давно не вспоминали обо мне!

– Довольно недели, чтобы наверстать потерянное. Итак, вы сами здесь, ну а где ваши друзья?

– Не знаю, монсеньор.

– Как, не знаете?

– Не знаю; мы давно расстались, так как они все трое покинули военную службу.

– Но где вы их найдете?

– Там, где они окажутся. Это уж мое дело.

– Хорошо. Ваши условия?

– Денег, монсеньор, денег столько, сколько потребуется на наши предприятия. Я слишком хорошо помню, какие препятствия возникали иной раз перед нами из-за отсутствия денег, и не будь этого алмаза, который я был вынужден продать, мы застряли бы в пути.

– Черт возьми! Денег! Да к тому же еще много! – сказал Мазарини. – Вот чего вы захотели, господин офицер. Знаете ли вы, что в королевской казне нет денег?

– Тогда сделайте, как я, монсеньор: продайте королевские алмазы; но, верьте мне, не стоит торговаться: большие дела плохо делаются с малыми средствами.

- Хорошо, – сказал Мазарини, – мы постараемся удовлетворить вас.
«Ришелье, – подумал д'Артаньян, – уже дал бы мне пятьсот пистолей задатку».
- Итак, вы будете мне служить?
– Да, если мои друзья на то согласятся.
– Но в случае их отказа я могу рассчитывать на вас?
– В одиночку я еще никогда ничего не делал путного, – сказал д'Артаньян, тряхнув головой.
- Так разыщите их.
– Что мне сказать им, чтоб склонить их к службе вашему преосвященству?
– Вы их знаете лучше, чем я. Обещайте каждому в зависимости от его характера.
– Что мне пообещать?
– Если они послужат мне так, как служили королеве, то моя благодарность будет ослепительна.
– Что мы будем делать?
– Все, потому что вы, по-видимому, способны на все.
– Монсеньор, доверяя людям и желая, чтобы они доверяли нам, надо осведомлять их лучше, чем это делает ваше преосвященство...
– Когда наступит время действовать, – прервал его Мазарини, – будьте покойны, вы все узнаете.
- А до тех пор?
– Ждите и ищите ваших друзей.
– Монсеньор, их, может быть, нет в Париже, это даже весьма вероятно. Мне придется путешествовать. Я ведь только бедный лейтенант, мушкетер, а путешествия стоят дорого.
– В мои намерения не входит, – сказал Мазарини, – чтобы вы появлялись с большой пышностью, мои планы нуждаются в тайне и пострадают от слишком большого числа окружающих вас людей.
– И все же, монсеньор, я не могу путешествовать на свое жалованье, так как мне задолжали за целых три месяца; а на свои сбережения я путешествовать не могу, потому что за двадцать два года службы я копил только долги.
- Мазарини задумался на минуту, словно в нем происходила сильная борьба; потом, подойдя к шкафу с тройным замком, он вынул оттуда мешок и взвесил его на руке два-три раза, прежде чем передать д'Артаньяну.
- Возьмите, – сказал он со вздохом, – это на путешествие.
«Если тут испанские дублоны или хотя бы золотые экю, – подумал д'Артаньян, – то с тобой еще можно иметь дело».
- Он поклонился кардиналу и опустил мешок в свой просторный карман.
- Итак, решено, – продолжал кардинал, – вы едете...
– Да, монсеньор.
– Пишите мне каждый день, чтобы я знал, как идут ваши переговоры.
– Непременно, монсеньор.
– Отлично. Кстати, как зовут ваших друзей?
– Как зовут моих друзей? – повторил д'Артаньян, не решаясь довериться кардиналу вполне.
– Да. Пока вы ищете, я наведу справки со своей стороны, и, может быть, кое-что узнаю.
– Граф де Ла Фер, иначе Атос; господин дю Валлон, или Портос, и шевалье д'Эрбле, теперь аббат д'Эрбле, иначе Арамис.
Кардинал улыбнулся.

– Младшие сыновья древних родов, – сказал он, – поступившие в мушкетеры под вымышленными именами, чтобы не компрометировать своих семей! Длинная шпага и пустой кошелёк, – нам это знакомо.

– Если, бог даст, эти шпаги послужат вам, монсеньор, – отвечал д'Артаньян, – то осмелюсь пожелать, чтобы кошелёк вашего преосвященства стал полегче, а их бы потяжелел, потому что с этими тремя людьми и со мной в придачу вы, ваше преосвященство, перевернете вверх дном всю Францию и даже всю Европу, если вам будет угодно.

– В хвастовстве гасконцы могут потягаться с итальянцами, – сказал, смеясь, Мазарини.

– Во всяком случае, – сказал д'Артаньян, улыбаясь так же, как кардинал, – они превзойдут их в бою на шпагах.

И он вышел, получив отпуск, который тут же был ему дан и подписан самим Мазарини.

Едва очутившись во дворе, он подошел к фонарю и поспешно заглянул в мешок.

– Серебро! – презрительно проговорил он. – Так я и думал! Ах, Мазарини, Мазарини, ты мне не доверяешь, – тем хуже для тебя, это принесет тебе несчастье.

Между тем кардинал потирал себе руки от удовольствия.

– Сто пистолей, – пробормотал он, – сто пистолей! Сто пистолей – и я владею тайной, за которую Ришелье заплатил бы двадцать тысяч экю! Не считая этого алмаза, – прибавил он, бросая любовные взгляды на перстень, который оставил у себя, вместо того чтобы отдать д'Артаньяну, – не считая этого алмаза, который стоит самое меньшее десять тысяч ливров.

И кардинал прошел в свою комнату, чрезвычайно довольный вечером, который принес ему такой отличный барыш; уложил перстень в ларец, наполненный бриллиантами всех сортов, потому что кардинал имел слабость к драгоценным камням, и позвал Бернуина, чтобы тот раздел его, не думая больше ни о криках на улице, ни о ружейных выстрелах, все еще гремевших в Париже, хотя было уже около полуночи.

Д'Артаньян в это время шел на Тиктонскую улицу, где он жил в гостинице «Козочка».

Скажем в нескольких словах, почему д'Артаньян остановил свой выбор на этом жилище.

Глава VI

Д'Артаньян в сорок лет

Увы, с тех пор, как мы в нашем романе «Три мушкетера» расстались с д'Артаньяном на улице Могильщиков, № 12, произошло много событий, а главное – прошло много лет.

Не то чтобы д'Артаньян не умел пользоваться обстоятельствами, но сами обстоятельства сложились не в пользу д'Артаньяна. В пору, когда он жил одной жизнью со своими друзьями, он был молод и мечтателен. Это была одна из тех тонких, впечатлительных натур, которые легко усваивают себе качества других людей. Атос заражал его своим гордым достоинством, Портос – пылкостью, Арамис – изяществом. Если бы д'Артаньян продолжал жить с этими тремя людьми, он сделался бы выдающимся человеком. Но Атос первый его покинул, удалившись в свое маленькое поместье близ Блуа, доставшееся ему в наследство; вторым ушел Портос, женившийся на своей прокурорше; последним ушел Арамис, чтобы принять рукоположение и сделаться аббатом. И д'Артаньян, всегда представлявший себе свое будущее нераздельным с будущностью своих трех приятелей, оказался одинок и слаб; он не имел решимости следовать дальше путем, на котором, по собственному ощущению, он мог достичь чего-либо только при условии, чтобы каждый из его друзей уступал ему, если можно так выразиться, немного электрического тока, которым одарило их небо.

После производства в лейтенанты одиночество д'Артаньяна только углубилось. Он не был таким аристократом, как Атос, чтобы пред ним могли открыться двери знатных домов; он не был так тщеславен, как Портос, чтоб уверять других, будто посещает высшее общество; не был столь утончен, как Арамис, чтобы пребывать в своем природном изяществе и черпать его в себе самом. Одно время пленительное воспоминание о г-же Бонасье вносило в душу молодого человека некоторую поэзию, но, как и все на свете, это тленное воспоминание мало-помалу изгладились: гарнизонная жизнь роковым образом влияет даже на избранные натуры. Из двух противоположных элементов, образующих личность д'Артаньяна, материальное начало мало-помалу возобладало, и потихоньку, незаметно для себя, д'Артаньян, не видевший ничего, кроме казарм и лагерей, не сходявший с коня, стал (не знаю, как это называлось в ту пору) тем, что в наше время называется «настоящим служакой».

Он не потерял природной остроты ума. Напротив, эта острота ума, может быть, даже увеличилась; по крайней мере грубоватая оболочка сделала ее еще заметнее. Но он направил свой ум не на великое, а на самое малое в жизни, на материальное благосостояние, благосостояние на солдатский манер; иначе говоря, он хотел иметь лишь хорошее жилье, хороший стол и хорошую хозяйку.

И все это д'Артаньян нашел уже шесть лет тому назад на Тиктонской улице, в гостинице под вывеской «Козочка».

С первых же дней его пребывания в этой гостинице хозяйка ее, красивая, свежая фламандка, лет двадцати пяти или шести, влюбилась в него не на шутку. Легкому роману сильно мешал непокладистый муж, которого д'Артаньян раз десять грозился проткнуть насквозь шпагой. В одно прекрасное утро этот муж исчез, продав потихоньку несколько бочек вина и захватив с собой деньги и драгоценности. Все думали, что он умер; в особенности настаивала на том, что он ушел из этого мира, его жена, которой очень улыбалась мысль считаться вдовой. Наконец, после трех лет связи, которую д'Артаньян не собирался порывать, находя с каждым годом все больше приятности в своем жилье и хозяйке, тем более что последняя предоставляла ему первое в долг, хозяйка эта возымела вдруг чудовищную претензию сделаться его женою и предложила д'Артаньяну на ней жениться.

– Ну уж нет! – ответил д'Артаньян. – Двоемужие, милая? Нет! Нет! Это невозможно.

– Но он умер, я уверена.

- Он был очень неподатливый малый и вернется, чтобы отправить нас на виселицу.
- Ну что ж, если он вернется, вы его убьете; вы такой храбрый и ловкий.
- Ого, голубушка! Это просто другой способ попасть на виселицу!
- Значит, вы отвергаете мою просьбу?
- Еще бы!

Прекрасная трактирщица была в отчаянии. Она хотела бы признать д'Артаньяна не только мужем, но и богом: он был такой красивый мужчина и такой лихой вояка!

На четвертом году этого союза случился поход во Франш-Конте. Д'Артаньян был назначен тоже и стал готовиться в путь. Тут начались великие страдания, неутешные слезы, торжественные клятвы в верности; все это, разумеется, со стороны хозяйки. Д'Артаньян был слишком великодушен, чтобы не пообещать ничего, и потому он обещал сделать все возможное для умножения славы своего имени.

Что до храбрости д'Артаньяна, то она нам уже известна. Он за нее и поплатился: наступая во главе своей роты, он был ранен в грудь навывлет пулей и остался лежать на поле сражения. Видели, как он падал с лошади, но не видели, чтобы он поднялся, и сочли его убитым; а те, кто надеялся занять его место, на всякий случай уверяли, что он убит в самом деле. Легко верится тому, во что хочешь верить, ведь в армии, начиная с дивизионных генералов, желающих смерти главнокомандующему, и кончая солдатами, ждущими смерти капрала, всякий желает чьей-нибудь смерти.

Но д'Артаньян был не такой человек, чтобы дать себя убить так просто. Прележав жаркое время дня без памяти на поле сражения, он пришел в себя от ночной прохлады, добрался кое-как до деревни, постучался в двери лучшего дома и был принят, как всегда и всюду принимают французов, даже раненых: его окружили нежной заботливостью и вылечили. Здоровее, чем раньше, он отправился в одно прекрасное утро в путь, во Францию, а потом в Париж, а как только попал в Париж, – на Тиктонскую улицу.

Но в своей комнате д'Артаньян нашел дорожный мешок с мужскими вещами и шпагу, прислоненную к стене.

«Он возвратился! – подумал д'Артаньян. – Тем хуже и тем лучше».

Само собой разумеется, что д'Артаньян имел в виду мужа.

Он навел справки: лакей новый, новая служанка; хозяйка ушла гулять.

– Одна? – спросил д'Артаньян.

– С барином.

– Так барин вернулся?

– Конечно, – простодушно ответила служанка.

«Будь у меня деньги, – сказал себе д'Артаньян, – я бы ушел; но у меня их нет, нужно остаться и, последовав совету моей хозяйки, разрушить брачные планы этого неугомонного загробного жителя».

Едва он кончил свой монолог (который доказывает, что в важных случаях жизни монолог – вещь самая естественная), как поджидавшая у дверей служанка закричала:

– А вот и барыня возвращается с барином!

Д'Артаньян выглянул тоже и увидел вдали, на углу Монмартрской улицы, хозяйку, которая шла, опираясь на руку огромного швейцарца, шагавшего развалистой походкой и приятно напомнившего Портоса его старому другу.

«Это и есть барин? – сказал про себя д'Артаньян. – Он, по-моему, очень вырос».

И д'Артаньян уселся в зале на самом видном месте. Хозяйка, войдя, сразу заметила его и вскрикнула.

По ее голосу д'Артаньян заключил, что ему рады, поднялся, бросился к ней и нежно поцеловал.

Швейцарец с недоумением смотрел на бледную как полотно хозяйку.

– Ах! Это вы, сударь! Что вам угодно? – спросила она в величайшем волнении.

– Этот господин ваш родной брат? Или двоюродный? – спросил д'Артаньян, разыгрывая свою роль без малейшего смущения.

Не дожидаясь ответа, он кинулся обнимать швейцарца, который отнесся к его объятиям очень холодно.

– Кто этот человек? – спросил он.

Хозяйка в ответ только всхлипывала.

– Кто этот швейцарец? – спросил д'Артаньян.

– Этот господин хочет на мне жениться, – едва выговорила хозяйка в промежутке между двумя вздохами.

– Так ваш муж наконец умер?

– А фам какое тело? – вмешался швейцарец.

– Мне до этого польшое тело, – ответил д'Артаньян, передразнивая его, – потому что вы не можете жениться без моего согласия, а я...

– А фы? – спросил швейцарец.

– А я этого согласия не дам, – сказал мушкетер.

Швейцарец покраснел, как пион; на нем был красивый мундир с золотым шитьем, а д'Артаньян был закутан в какой-то серый плащ; швейцарец был шести футов роста, а д'Артаньян не больше пяти. Швейцарец чувствовал себя дома, и д'Артаньян казался ему незванным гостем.

– Убередесь ли фы одсюда? – крикнул швейцарец, сильно топнув ногой, как человек, который начинает сердиться всерьез.

– Я? Как бы не так! – ответил д'Артаньян.

– Не позвать ли кого-нибудь? – сказал слуга, который не мог понять, как это такой маленький человек оспаривает место у такого большого.

– Эй, ты! – крикнул д'Артаньян, приходя в ярость и хватая парня за ухо. – Стой на месте и не шевелись, не то я тебе уши оборву. А что до вас, блистательный потомок Вильгельма Телля, то вы сейчас же увяжете в узелок ваши вещи, которые мешают мне в моей комнате, и живо отправитесь искать себе квартиру в другой гостинице.

Швейцарец громко расхохотался.

– Мне уходишь? – сказал он. – Это бочему?

– А, отлично! – сказал д'Артаньян. – Я вижу, вы понимаете по-французски. Тогда пойдемте погулять со мной. Я вам растолкую остальное.

Хозяйка, зная, что д'Артаньян мастер своего дела, начала плакать и рвать на себе волосы. Д'Артаньян обернулся к заплаканной красотке.

– Тогда прогоните его сами, сударыня, – сказал он.

– Па! – ответил швейцарец, который не сразу уразумел предложение, которое ему сделал д'Артаньян. – Па! А фы кто такой, чтоб бредлагать мне идти гулять с фами?

– Я лейтенант мушкетеров его величества, – сказал д'Артаньян, – и, значит, я – ваше начальство. Но так как дело тут не в чинах, а в праве на постой, то обычай вам известен: едем за приказом; кто первый вернется, за тем и будет квартира.

Д'Артаньян увел швейцарца, не слушая воплей хозяйки, сердце которой, в сущности, склонялось к прежнему любовнику; но она была бы не прочь проучить этого гордеца-мушкетера, оскорбившего ее отказом жениться.

Противники направились прямо к Монмартрскому рву. Когда они пришли, уже стемнело. Д'Артаньян вежливо попросил швейцарца уступить ему жилье и больше не возвращаться; тот отрицательно мотнул головой и обнажил шпагу.

– В таком случае вы будете ночевать здесь, – сказал д'Артаньян. – Это скверный ночлег, но я не виноват, вы его сами выбрали.

При этих словах он тоже обнажил шпагу и скрестил ее со шпагой противника.

Ему пришлось иметь дело с крепкой рукой, но его ловкость одолевала любую силу. Шпага швейцарца не сумела отразить шпаги мушкетера. Швейцарец был дважды ранен. Из-за холода он не сразу заметил раны, но потеря крови и вызванная ею слабость внезапно принудили его сесть на землю.

– Так! – сказал д'Артаньян. – Что я вам говорил? Вот вам и досталось, упрямая голова. Радуйтесь еще, если отделаетесь двумя неделями. Оставайтесь тут, я сейчас пришлю с лакеем ваши вещи. До свидания. Кстати, советую поселиться на улице Монторгейль, в «Кошке с клубком»: там отлично кормят, если только там еще прежняя хозяйка. Прощайте.

Очень довольный, он вернулся домой и в самом деле послал слугу отнести пожитки швейцарцу, который все сидел на том же месте, где оставил его д'Артаньян, и не мог прийти в себя от нахальства противника.

Слуга, хозяйка и весь дом преисполнились к д'Артаньяну таким благоговением, с каким отнеслись бы разве только к Геркулесу, если бы он снова явился на землю для свершения своих двенадцати подвигов.

Но, оставшись наедине с хозяйкой, д'Артаньян сказал ей:

– Теперь, прекрасная Мадлен, вам известно, чем отличается швейцарец от дворянина. Вы-то сами вели себя как трактирщица. Тем хуже для вас, так как из-за вашего поведения вы теряете мое уважение и своего постояльца. Я выгнал швейцарца, чтобы проучить вас, но жить я здесь не стану, я не квартирую у тех, кого презираю. Эй, малый, отнеси мой сундук в «Бочку Амура» на улицу Бурдоне. До свидания, сударыня.

Произнося эти слова, д'Артаньян был, вероятно, и величествен и трогателен. Хозяйка бросилась к его ногам, просила прощения и своей нежностью принудила его задержаться. Что сказать еще? Вертел крутился, огонь трещал, прекрасная Мадлен рыдала; д'Артаньян сразу почувствовал соединенное действие голода, холода и любви; он простил, а простив – остался.

Вот почему д'Артаньян жил на Тиктонской улице в гостинице «Козочка».

Глава VII

Д'Артаньян в затруднительном положении, но один из наших старых знакомых приходит ему на помощь

Итак, д'Артаньян в раздумье шел к себе домой, с удовольствием унося кошелек кардинала Мазарини и мечтая о прекрасном алмазе, который некогда принадлежал ему и теперь на мгновение сверкнул перед ним на пальце первого министра.

«Если бы этот алмаз когда-нибудь снова попал мне в руки, – думал он, – я бы не сходя с места превратил его в деньги и купил маленькое поместье возле отцовского замка; замок этот довольно приятное обиталище, но не имеет при себе никаких угодий, кроме сада величиной с кладбище Избиенных Младенцев; затем я величественно дожидался бы, пока какая-нибудь богатая наследница, соблазненная моей внешностью, предложит мне вступить с ней в брак; потом у меня появилось бы три мальчугана: из первого я сделал бы важного барина вроде Атоса, из второго – храброго солдата вроде Портоса, а из третьего – изящного аббата вроде Арамиса. Право, это было бы куда лучше той жизни, какую я веду; но, на беду мою, господин де Мазарини – жалкий скряга и не поступится этим алмазом в мою пользу».

Что сказал бы д'Артаньян, если бы знал, что королева вручила Мазарини алмаз для передачи ему!

Выйдя на Тиктонскую улицу, он застал там большое волнение; множество народу столпилось возле его дома.

– Ого, – сказал он, – уж не горит ли гостиница «Козочка» или не вернулся ли и впрямь муж прекрасной Мадлен?

Оказалось, ни то ни другое; подойдя ближе, д'Артаньян увидел, что толпа собралась не перед его домом, а перед соседним. Раздавались крики, люди бегали с факелами, и при свете этих факелов д'Артаньян разглядел мундиры.

Он спросил, что случилось.

Ему ответили, что какой-то горожанин с дюжиной друзей напал на карету, ехавшую под конвоем кардинальской гвардии, но явилось подкрепление, и горожане обратились в бегство. Их предводитель скрылся в соседнем доме, и теперь этот дом обыскивают.

В молодости д'Артаньян непременно бросился бы туда, где были солдаты, и стал бы помогать им против горожан, но такой пыл давно уже остыл в нем; к тому же у него в кармане было сто пистолей, полученных от кардинала, и он не хотел подвергать их разным случайностям, вмешавшись в толпу.

Он пошел в гостиницу без дальнейших расспросов. Бывало, д'Артаньян всегда желал все знать; теперь он всякий раз считал, что знает уже достаточно.

Его встретила красотка Мадлен. Она его не ожидала, так как д'Артаньян сказал ей, что проведет ночь в Лувре, и обласкала его за это непредвиденное появление, которое пришлось тем более кстати, что она очень боялась смятения на улице и теперь не располагала швейцарцем для охраны.

Она хотела завязать с д'Артаньяном разговор, рассказать обо всем случившемся; но он велел подать ужин к себе в комнату и принести туда бутылку старого бургундского.

Прекрасная Мадлен была у него вышколена по-военному, – иначе говоря, исполняла все по первому знаку; а так как д'Артаньян на этот раз сообразовался говорить, то его приказание было выполнено вдвое скорее обычного.

Д'Артаньян взял ключ и свечу и поднялся в свою комнату; чтобы не сокращать доходов хозяйки, он удовлетворился комнаткой в верхнем этаже. Уважение, которое мы питаем к

истине, вынуждает нас даже сказать, что эта комната помещалась под самой крышей и рядом с водосточным желобом.

Д'Артаньян удалялся в эту комнату, как Ахиллес в свой шатер, когда хотел наказать прекрасную Мадлен своим презрением.

Прежде всего он спрятал в старый шкафчик с новым замком свой мешок, содержимое которого он не собирался пересчитывать, чтобы узнать, какую оно составляет сумму; через минуту ему подали ужин и бутылку вина, он отпустил слугу, запер дверь и сел за стол.

Все это было сделано д'Артаньяном вовсе не для того, чтобы предаться размышлениям, как мог бы предположить читатель, – просто он считал, что только делая все по очереди – можно делать все хорошо. Он был голоден – он поужинал; потом лег спать.

Д'Артаньян не принадлежал к тем людям, которые полагают, что ночь – добрая советчица: ночью д'Артаньян спал. Наоборот, именно по утрам он бывал бодр, сообразителен, и ему приходили в голову самые лучшие решения. Размышлять по утрам он уже давно не имел повода, но спал ночью всегда.

На рассвете он проснулся, живо, по-военному, вскочил с постели и зашагал по комнате, соображая:

«В сорок третьем году, за полгода примерно до смерти кардинала, я получил письмо от Атоса. Где это было?.. Где же?.. Ах, это было при осаде Безансона. Помню, я сидел в траншее. Что он мне писал? Будто поселился в маленьком поместье, – да, именно так, в маленьком поместье. Но где? Я как раз дочитал до этих слов, когда порыв ветра унес письмо. Следовало мне тогда броситься за ним, хотя ветер нес его прямо в поле. Но молодость – большой недостаток... для того, кто уже не молод. Я дал моему письму улететь к испанцам, которым адрес Атоса был ни к чему, так что им следовало прислать мне письмо обратно. Итак, бросим думать об Атосе. Перейдем к Портосу...

Я получил от него письмо; он приглашал меня на большую охоту в своих поместьях в сентябре тысяча шестьсот сорок шестого года. К несчастью, я был тогда в Беарне по случаю смерти отца; письмо последовало за мной, но я уже уехал из Беарна, когда оно пришло. Тогда оно отправилось по моим следам и чуть не нагнало меня в Монмеди, опоздав всего на несколько дней. В апреле оно попало наконец в мои руки, но так как шел уже апрель тысяча шестьсот сорок седьмого года, а приглашение было на сентябрь тысяча шестьсот сорок шестого года, то я не мог им воспользоваться. Надо отыскать это письмо: оно должно лежать вместе с моими актами на именье».

Д'Артаньян открыл старый сундучок, стоявший в углу комнаты, наполненный пергамен-тами, относившимися к землям д'Артаньяна, которые уже с лишком двести лет как вышли из владения его предков, и вскрикнул от радости. Он узнал размашистый почерк Портоса, а под ним несколько строчек каракуль, начертанных сухой рукой его достойной супруги.

Д'Артаньян не стал терять времени попусту на перечитывание письма, содержание которого он знал, а прямо обратился к адресу.

Адрес был: «Замок дю Валлон».

Портос и не подумал дать более точные указания. В своей надменности он думал, что весь свет должен знать замок, которому он дал свое имя.

– Проклятый хвостун! – воскликнул д'Артаньян. – Он несколько не переменялся! А мне именно с него-то и следовало бы начать ввиду того, что он, унаследовав от Кокнара восемьсот тысяч ливров, не нуждается в деньгах. Эх, самого-то лучшего у меня и не будет! Атос так пил, что, наверное, совсем оступел. Что касается Арамиса, то он, конечно, погружен в свое благочестие.

Д'Артаньян еще раз взглянул на письмо. В нем была приписка, в которой значилось следующее:

«С этой же почтой пишу нашему достойному другу Арамису в его монастырь».

– В его монастырь? Отлично. Но какой монастырь? Их двести в одном Париже. И три тысячи во Франции. К тому же он, может быть, поступая в монастырь, в третий раз изменил свое имя? Ах, если бы я был силен в богословии, если б я мог только вспомнить предмет его тезисов, которые он так рьяно обсуждал в Кревкере с кюре из Мондидье и настоятелем иезуитского монастыря, я бы уже смекнул, какой доктрине он отдает предпочтение, и вывел бы отсюда, какому святому он мог себя посвятить. А не пойти ли мне к кардиналу и не спросить ли у него пропуск во всевозможные монастыри, даже женские? Это действительно мысль, и, может быть, туда-то он и удалился, как Ахиллес. Да, но это значит с самого начала признаться в своем бессилии и с первого шага уронить себя во мнении кардинала. Сановники бывают довольны только тогда, когда ради них делают невозможное. «Будь это вещь возможная, – говорят они нам, – я бы и сам это сделал». И сановники правы. Но не будем торопиться и разберемся толком. От него я тоже получил письмо, от милого друга, и он даже просил меня оказать ему какую-то услугу, что я и выполнил. Да. Но куда же я девал это письмо?

Подумав немного, д'Артаньян подошел к вешалке, где висело его старое платье, и стал искать свой камзол 1648 года, а так как наш д'Артаньян был парень аккуратный, то камзол оказался на крючке. Порывшись в карманах, он вытащил бумажку: это было письмо Арамиса.

«Господин д'Артаньян, – писал Арамис, – извещаю вас, что я поссорился с одним дворянином, который назначил поединок сегодня вечером на Королевской площади; так как я – духовное лицо и это дело может повредить мне, если я сообщу о нем кому-нибудь другому, а не такому верному другу, как вы, то я прошу вас быть моим секундантом.

*Войдите на площадь с новой улицы Святой Екатерины и под вторым фонарем вы встретите вашего противника. Я с моим буду под третьим.
Ваш Арамис».*

На этот раз даже не было прибавлено: «до свидания».

Д'Артаньян пытался припомнить события: он отправился на поединок, встретил там указанного противника, имени которого он так и не узнал, ловко проткнул ему шпагой руку и подошел к Арамису, который, окончив уже свое дело, вышел к нему навстречу из-под третьего фонаря.

– Готово, – сказал Арамис. – Кажется, я убил наглеца. Ну, милый друг, если вам встретится надобность во мне, вы знаете – я вам всецело предан.

И, пожав ему руку, Арамис исчез под аркой.

Выходило, что д'Артаньян знал о местопребывании Арамиса столько же, сколько и о местопребывании Атоса и Портоса, и дело начинало казаться ему очень затруднительным, как вдруг ему послышалось, будто в его комнате разбились стекло.

Он сейчас же вспомнил о своем мешке и бросился к шкафчику. Он не ошибся: в ту минуту, как он входил в комнату, какой-то человек влезал в окно.

– А, негодяй! – закричал д'Артаньян, приняв его за вора и хватаясь за шпагу.

– Сударь! – взмолился этот человек. – Ради бога, вложите шпагу в ножны и не убивайте меня, не выслушав. Я не вор, вовсе нет! Я честный и зажиточный буржуа, у меня собственный дом. Меня зовут... Ай! Может ли быть? Нет, я не ошибаюсь, вы господин д'Артаньян.

– Это ты, Планше? – вскричал лейтенант.

– К вашим услугам, – ответил Планше, сияя, – если только я еще гожусь.

– Может быть, – сказал д'Артаньян. – Но какого черта ты лазишь в семь часов утра по крышам, да еще в январе месяце?

– Сударь, – сказал Планше, – надо вам знать... хотя, в сущности, вам, пожалуй, этого и знать не надо.

– Что такое? – переспросил д'Артаньян. – Но сперва прикрой окно полотенцем и задерни занавеску.

Планше повиновался.

– Ну, говори же! – сказал д'Артаньян, когда тот исполнил приказание.

– Сударь, скажите прежде всего, – спросил осторожно Планше, – в каких вы отношениях с господином де Рошфором?

– В превосходных! Еще бы! Он теперь один из моих лучших друзей!

– А! Ну тем лучше!

– Но что общего имеет Рошфор с подобным способом входить в комнату?

– Видите ли, сударь... Прежде всего нужно вам сказать, что господин де Рошфор в...

Планше замялся.

– Черт возьми, – сказал д'Артаньян. – Я отлично знаю, что он в Бастилии.

– То есть он был там, – ответил Планше.

– Как так был? – вскричал д'Артаньян. – Неужели ему посчастливилось бежать?

– Ах, сударь, – вскричал, в свою очередь, Планше, – если это, по-вашему, счастье, то все обстоит благополучно! В таком случае нужно вам сказать, что вчера, по-видимому, за господином де Рошфором присылали в Бастилию...

– Черт! Я это отлично знаю, потому что сам ездил за ним.

– Но, на его счастье, не вы отвозили его обратно; потому что, если бы я узнал вас среди конвойных, то поверьте, сударь, что я слишком уважаю вас, чтобы...

– Да кончай же, скотина! Что такое случилось?

– А вот что. Случилось, что на Скобяной улице, когда карета господина де Рошфора пробиралась сквозь толпу народа и конвойные разгоняли граждан, поднялся ропот, арестант подумал, что настал удобный момент, сказал свое имя и стал звать на помощь. Я был тут же, услышал имя графа де Рошфора, вспомнил, что он сделал меня сержантом Пьемонтского полка, и закричал, что этот узник – друг герцога Бофора. Тут все сбежались, остановили лошадей, оттеснили конвой. Я успел отворить дверцу, Рошфор выскочил из кареты и скрылся в толпе. К несчастью, в эту минуту проходил патруль, присоединился к конвойным, и они бросились на нас. Я отступил к Тиктонской улице, они за мной, я вбежал в соседний дом, его оцепили, обыскали, но напрасно – я нашел в пятом этаже одну сочувствующую нам особу, которая спрятала меня под двумя матрацами. Я всю ночь или около того оставался в своем тайнике и, подумав, что вечером могут возобновить поиски, на рассвете спустился по водосточной трубе, чтобы отыскать сначала вход, а потом и выход в каком-нибудь доме, который бы не был оцеплен. Вот моя история, и, честное слово, сударь, я буду в отчаянии, если она вам не по вкусу.

– Нет, напротив, – сказал д'Артаньян, – право же, я очень рад, что Рошфор на свободе. Но ты понимаешь, что, попадись ты теперь в руки королевских солдат, тебя без пощады повесят?

– Как не понимать? Черт возьми! – воскликнул Планше. – Именно это меня и беспокоит, и вот почему я так обрадовался, что нашел вас; ведь если вы захотите меня спрятать, то никто этого не сделает лучше вашего.

– Да, – сказал д'Артаньян. – Я, пожалуй, не против, хоть и рискую ни много ни мало, как моим чином, если только дознаются, что я укрываю мятежника.

– Ах, сударь, вы же знаете, что я рискнул бы для вас жизнью.

– Ты можешь даже прибавить, что не раз рисковал ею, Планше. Я забываю только то, что хочу забыть. Ну а об этом я хочу помнить. Садись же и ешь спокойно: я вижу, ты весьма выразительно поглядываешь на остатки моего ужина.

– Да, сударь, потому что буфет соседки оказался небогат сытными вещами, и я с полудня съел всего лишь кусок хлеба с вареньем. Хоть я и не презираю сладостей, когда они подаются вовремя и к месту, ужин показался мне все же чересчур легким.

– Бедняга! – сказал д'Артаньян. – Ну, ешь, ешь!

– Ах, сударь, вы мне вторично спасаете жизнь.

Планше уселся за стол и принялся уписывать за обе щеки, как в доброе старое время, на улице Могильщиков.

Д'Артаньян прохаживался взад и вперед по комнате, придумывая, какую бы пользу можно было извлечь из Планше в данных обстоятельствах. Тем временем Планше добросовестно трудился, чтобы наверстать упущенное время.

Наконец он испустил тот удовлетворенный вздох голодного человека, который свидетельствует, что, заложив прочный фундамент, он собирается сделать маленькую передышку.

– Ну, – сказал д'Артаньян, полагавший, что настало время приступить к допросу, – начнем по порядку: известно ли тебе, где Атос?

– Нет, сударь, – ответил Планше.

– Черт! Известно ли тебе, где Портос?

– Тоже нет.

– Черт! Черт! А Арамис?

– Ни малейшего понятия.

– Черт! Черт! Черт!

– Но, – сказал Планше лукаво, – мне известно, где находится Базен.

– Как! Ты знаешь, где Базен?

– Да, сударь.

– Где же он?

– В соборе Богоматери.

– А что он делает в соборе Богоматери?

– Он там причетник.

– Базен причетник в соборе Богоматери! Ты в этом уверен?

– Вполне уверен. Я его сам видел и говорил с ним.

– Он, наверное, знает, где его господин!

– Разумеется.

Д'Артаньян подумал, потом взял плащ и шпагу и направился к двери.

– Сударь, – жалобно сказал Планше. – Неужели вы меня покинете? Подумайте, мне ведь больше не на кого надеяться.

– Но здесь не станут тебя искать, – сказал д'Артаньян.

– А если сюда кто войдет? – сказал осторожный Планше. – Никто не видел, как я вошел, и ваши домашние примут меня за вора.

– Это правда, – сказал д'Артаньян. – Слушай, знаешь ты какое-нибудь провинциальное наречие?

– Лучше того, сударь, я знаю целый язык, – сказал Планше, – я говорю по-фламандски.

– Где ты, черт возьми, выучился ему?

– В Артуа, где я сражался два года. Слушайте: «Goeden morgen, myn heer! Ik ben begeeray te weeten the ge sond hecst omstand».

– Что это значит?

– «Добрый день, сударь, позвольте осведомиться о состоянии вашего здоровья».

– И это называется язык! – сказал д'Артаньян. – Но все равно, это очень кстати.

Он подошел к двери, кликнул слугу и приказал позвать прекрасную Мадлен.

– Что вы делаете, сударь, – вскричал Планше, – вы хотите доверить тайну женщине!

– Будь покоен, она не проговорится.

В эту минуту явилась хозяйка. Она вбежала с радостным лицом, надеясь застать д'Артаньяна одного, но, заметив Планше, с удивлением отступила.

– Милая хозяйюшка, – сказал д'Артаньян, – рекомендую вам вашего брата, только что приехавшего из Фландрии: я его беру к себе на несколько дней на службу.

- Моего брата! – сказала ошеломленная хозяйка.
- Поздоровайтесь же со своей сестрой, master Петер.
- Wilkom, zuster! – сказал Планше.
- Goeden day, hrôer!⁵ – ответила удивленная хозяйка.

– Вот в чем дело, – сказал д'Артаньян, – этот человек ваш брат, которого вы, может быть, и не знаете, но зато знаю я; он приехал из Амстердама; я сейчас уйду, а вы должны его одеть; когда я вернусь, примерно через час, вы мне его представите, и по вашей рекомендации, хотя он не знает ни слова по-французски, я возьму его к себе в услужение, так как ни в чем не могу вам отказать. Понимаете?

- Вернее, я догадываюсь, чего вы желаете, и этого с меня достаточно, – сказала Мадлен.
 - Вы чудная женщина, хозяйюшка, и я полагаюсь на вас.
- Сказав это, д'Артаньян подмигнул Планше и отправился в собор Богоматери.

⁵ Добро пожаловать, сестра! – Добрый день, брат!

Глава VIII

О различном действии, какое полупистоль может иметь на причетника и на служку

Д'Артаньян шел по Новому мосту, радуясь, что снова обрел Планше. Ведь как ни был он полезен доброму малому, но Планше был ему самому гораздо полезнее. В самом деле, ничто не могло быть ему приятнее в эту минуту, как иметь в своем распоряжении храброго и сметливого лакея. Правда, по всей вероятности, Планше недолго будет служить ему; но, возвратясь к своему делу на улице Менял, Планше будет считать себя обязанным д'Артаньяну за то, что тот, скрыв его у себя, спас ему жизнь, а д'Артаньяну было очень на руку иметь связи в среде горожан в то время, когда они собирались начать войну с двором. У него будет свой человек во вражеском лагере, а такой умница, как д'Артаньян, умел всякую мелочь обратить себе во благо.

В таком настроении, весьма довольный судьбой и самим собой, д'Артаньян подошел к собору Богоматери.

Он поднялся на паперть, вошел в храм и спросил у ключаря, подметавшего часовню, не знает ли он г-на Базена.

– Господина Базена, причетника? – спросил ключарь.

– Его самого.

– Вот он прислуживает за обедней, в приделе Богородицы.

Д'Артаньян вздрогнул от радости. Несмотря на слова Планше, ему не верилось, что он найдет Базена; но теперь, поймав один конец нити, он мог ручаться, что доберется и до другого.

Он опустился на колени, лицом к этому приделу, чтобы не терять Базена из виду. По счастью, служилась краткая обедня, она должна была скоро кончиться. Д'Артаньян, перезабывший все молитвы и не позаботившийся захватить с собой молитвенник, стал на досуге наблюдать Базена.

Вид Базена в новой одежде был, можно сказать, столь же величественный, сколь и блаженный. Сразу видно было, что он достиг или почти достиг предела своих желаний и что палочка для зажигания свеч, оправленная в серебро, которую он держал в руке, казалась ему столь же почетной, как маршальский жезл, который Конде бросил, а может быть, и не бросил, в неприятельские ряды во время битвы под Фрейбургом.

Даже физически он преобразился, если можно так выразиться, совершенно под стать одежде. Все его тело округлилось и приобрело нечто поповское. Все угловатости на его лице как будто сгладились. Нос у него был все тот же, но он тонул в круглых щеках; подбородок незаметно переходил в шею; глаза заплыли, не то что от жира, а от какой-то одутловатости; волосы, подстриженные по-церковному, под скобку, закрывали лоб до самых бровей. Заметим кстати, что лоб Базена, даже совсем открытый, никогда не превышал полутора дюймов в вышину.

В ту минуту как д'Артаньян кончил свой осмотр, кончилась и обедня. Священник произнес «аминь» и удалился, благословив молящихся, которые, к удивлению д'Артаньяна, все преклонили колена. Он перестал удивляться, узнав в священнослужителе самого коадьютора, знаменитого Жана-Франсуа де Гонди, который уже в это время, предчувствуя свою будущую роль, создавал себе популярность щедрой раздачей милостыни. Для того чтобы увеличить эту популярность, он и служил иногда ранние обедни, на которые обычно приходит только простой люд.

Д'Артаньян, как и все, опустился на колени, принял причитающееся на его долю благословение, перекрестился, но в ту минуту, когда мимо него, с возведенными к небу очами, проходил Базен, скромно замыкавший шествие, д'Артаньян схватил его за полу; Базен опустил глаза и отскочил назад, словно увидел змею.

– Господин д'Артаньян! – воскликнул он. – *Vade retro, Satanas!*⁶

– Отлично, милый Базен, – ответил, смеясь, офицер, – вот как вы встречаете старого друга.

– Сударь, – ответил Базен, – истинные друзья христианина те, кто споспешествует спасению, а не те, кто отвращает от него.

– Я вас не понимаю, Базен, – сказал д'Артаньян, – я не вижу, как я могу служить камнем преткновения на вашем пути к спасению.

– Вы забываете, – ответил Базен, – что пытались навсегда закрыть к нему путь для моего бедного господина; из-за вас он губил свою душу, служа в мушкетерах, хотя чувствовал пламенное призвание к церкви.

– Мой милый Базен, – возразил д'Артаньян, – вы должны были бы понять уже по месту, где меня видите, что я очень переменялся: с годами становишься разумнее. И так как я не сомневаюсь, что ваш господин спасает свою душу, то я хочу узнать от вас, где он находится, чтобы он своими советами помог и моему спасению.

– Скажите лучше – чтобы вновь увлечь его в мир? По счастью, я не знаю, где он, так как, находясь в святом месте, я никогда не решился бы солгать.

– Как! – воскликнул д'Артаньян, совершенно разочарованный. – Вы не знаете, где Арамис?

– Прежде всего, – сказал Базен, – Арамис – это имя погибели. Если прочесть Арамис навыворот, получится Симара, имя одного из злых духов, и, по счастью, мой господин навсегда бросил это имя.

– Хорошо, – сказал д'Артаньян, решившись перетерпеть все, – я ищу не Арамиса, а аббата д'Эрбле. Ну же, мой милый Базен, скажите мне, где он.

– Разве вы не слышали, господин д'Артаньян, как я ответил вам, что не знаю этого?

– Слышал, конечно; но я отвечаю вам, что это невозможно.

– Тем не менее это правда, сударь, чистая правда, как перед богом...

Д'Артаньян хорошо видел, что ничего не вытянет из Базена; ясно было – Базен лжет, но по тому, с каким жаром и упорством он лгал, можно было легко предвидеть, что он от своего не отступится.

– Хорошо, – сказал д'Артаньян. – Так как вы не знаете, где живет ваш барин, не будем больше говорить о нем и расстанемся друзьями; вот вам полпистоля, выпейте за мое здоровье.

– Я не пью, сударь, – сказал Базен, величественно отводя руку офицера. – Это подобает только мирянам.

– Неподкупный! – проворчал д'Артаньян. – Ну и не везет же мне!

И так как д'Артаньян, отвлеченный своими размышлениями, выпустил из рук полу Базена, тот поспешил воспользоваться свободой для отступления и быстро удалился в ризницу; он и там не считал себя вне опасности, пока не запер за собой дверь.

Д'Артаньян, задумавшись, не двигался с места и глядел в упор на дверь, положившую преграду между ним и Базеном; вдруг он почувствовал, что кто-то тихонько коснулся его плеча.

Он обернулся и едва не вскрикнул от удивления, но тот, кто до него дотронулся пальцем, приложил этот палец к губам в знак молчания.

– Вы здесь, мой дорогой Рошфор? – сказал д'Артаньян вполголоса.

– Ш-ш... – произнес Рошфор. – Знали вы, что я освободился?

– Я узнал это из первых рук.

– От кого же?

– От Планше.

⁶ Отыди, сатана! (*лат.*)

- Как, от Планше?
- Конечно. Ведь это он вас спас.
- Планше? Мне действительно показалось, что это он. Вот доказательство, мой друг, что благодеяние никогда не пропадает даром.
- А что вы здесь делаете?
- Пришел возблагодарить господина за свое счастливое освобождение, – сказал Рошфор.
- А еще зачем? Мне кажется, не только за этим.
- А еще за распоряжениями к коадьютору; хочу попробовать, нельзя ли чем насолить Мазарини.
- Безумец! Вас опять упрячут в Бастилию!
- Ну нет! Об этом я позабочусь, ручаюсь вам. Уж очень хорошо на свежем воздухе, – продолжал Рошфор, вздыхая полной грудью, – я поеду в деревню, буду путешествовать по провинции.
- Вот как? Я еду тоже! – сказал д'Артаньян.
- А не будет нескромностью спросить куда?
- На розыски моих друзей.
- Каких друзей?
- Тех самых, о которых вы меня вчера спрашивали.
- Атоса, Портоса и Арамиса? Вы их разыскиваете?
- Да.
- Честное слово?
- Что же тут удивительного?
- Ничего! Забавно! А по чьему поручению вы их разыскиваете?
- Вы не догадываетесь?
- Догадываюсь.
- К несчастью, я не знаю, где они.
- И у вас нет возможности узнать? Подождите неделю, я вам добуду сведения, – сказал Рошфор.
- Неделя – это слишком долго, я должен их найти в три дня.
- Три дня мало, – сказал Рошфор, – Франция велика.
- Не беда. Знаете, что значит слово «надо»? С этим словом можно многое сделать.
- А когда вы начнете поиски?
- Уже начал.
- В добрый час!
- А вам – счастливого пути!
- Быть может, мы встретимся в дороге?
- Едва ли.
- Как знать. У судьбы много причуд.
- Прощайте.
- До свидания. Кстати, если Мазарини вспомнит обо мне, скажите, что я просил вас довести до его сведения, что он скоро увидит, так ли я стар для дела, как он думает.

И Рошфор удалился с той дьявольской улыбкой на губах, которая прежде заставляла д'Артаньяна содрогаться; но на этот раз д'Артаньян не испытал страха и сам улыбнулся с грустью, которую могло вызвать на его лице только одно-единственное воспоминание. «Ступай, демон, – подумал он, – и делай что хочешь. Теперь мне все равно: нет второй Констанции в мире».

Оглянувшись, он увидел Базена, уже снявшего с себя облачение и разговаривавшего с тем ключарем, к которому д'Артаньян обратился, входя в церковь. Базен был, по-видимому, очень

возбужден и быстро размахивал своими толстыми короткими ручками. Д'Артаньян понял, что Базен, вероятно, внушал ключарю остерегаться его как только возможно.

Д'Артаньян воспользовался озабоченностью обоих служителей, незаметно улизнул из собора и притаился за углом улицы Пивных Бутылок. Базен не мог пройти так, чтобы д'Артаньян не увидел его из своего тайника.

Через пять минут после того, как д'Артаньян занял свой пост, Базен вышел на паперть, озираясь по сторонам, не следит ли кто-нибудь за ним. Но он имел неосторожность не заметить нашего офицера в пятидесяти шагах от себя, за углом дома, откуда высовывалась только его голова. Видимо успокоенный, Базен пошел по улице Богоматери. Д'Артаньян выскочил из своей засады как раз вовремя, чтобы увидеть, как он повернул в Еврейскую улицу, затем в улицу Лоцильщиков и вошел в приличный по внешности дом. И офицер наш не усомнился, что достойный причетник обитает именно в этом доме.

Д'Артаньян поостерегся идти туда за справками, так как привратник, если только такой имелся, был, вероятно, предупрежден, а если привратника не было, то не к кому было и обращаться.

Поэтому он вошел в кабачок на углу улицы Святого Элигия и улицы Лоцильщиков и спросил глентвейну. На приготовление этого напитка требовалось добрых полчаса, и д'Артаньян мог следить за Базеном, не возбуждая ни в ком подозрения. Вдруг он заметил шустрого мальчугана лет двенадцати – пятнадцати, очень веселого с виду, в котором он признал мальчишку, виденного им минут двадцать назад в облачении церковного служки. Он заговорил с ним, и так как будущий дьячок не имел оснований скрытничать, то д'Артаньян узнал, что тот от шести до девяти часов утра исполняет обязанности певчего, а с девяти до полуночи служит подручным в кабачке.

Пока они разговаривали, к дому Базена подвели лошадь. Она была оседлана и взнуздана. Минуту спустя вышел и сам Базен.

– Ишь ты! – сказал мальчик. – Наш причетник собирается в путь-дорогу.

– Куда это он собрался? – спросил д'Артаньян.

– А я почему знаю!

– Дам полпистоля, если сумеешь узнать, – сказал д'Артаньян.

– Полпистоля, – переспросил мальчик, у которого и глаза разгорелись, – если узнаю, куда едет Базен? Это нетрудно. А вы не шутите?

– Нет, слово офицера. На, смотри, вот полпистоля. – И он показал ему соблазнительную монету, не давая ее, однако, в руки.

– Я спрошу у него.

– Этак ты как раз ничего не узнаешь, – сказал д'Артаньян. – Подожди, пока он уедет, а потом уж, черт возьми, спрашивай, выпытывай, разузнавай. Это твое дело: полпистоля тут.

И он положил монету обратно в карман.

– Понимаю, – сказал мальчишка, лукаво улыбаясь, как умеют улыбаться только парижские сорванцы. – Ладно! Подождем!

Ждать пришлось недолго. Пять минут спустя Базен тронулся рысцой, подбодря лошадь ударами зонтика.

Базен всегда имел привычку брать с собой зонтик вместо хлыста.

Едва он повернул за угол Еврейской улицы, мальчик, как гончая, пустился по следу.

Д'Артаньян снова занял прежнее место за столом в полной уверенности, что не пройдет и десяти минут, как он узнает все, что нужно.

И действительно, мальчишка вернулся даже раньше этого срока.

– Ну? – спросил д'Артаньян.

– Готово, – сказал мальчуган, – я все знаю.

– Куда же он поехал?

– А про полпистоля вы не забыли?

– Конечно, нет. Говори скорей.

– Я хочу видеть монету. Покажите-ка, она не фальшивая?

– Вот.

– Хозяин, – сказал мальчишка, – барин просит разменять деньги.

Хозяин сидел за конторкой. Он дал мелочь и принял полпистоля.

Мальчишка сунул монеты в карман.

– Ну а теперь говори, куда он поехал? – спросил д'Артаньян, весело наблюдавший его проделку.

– В Нуази.

– Откуда ты знаешь?

– Не велика хитрость. Я узнал лошадь мясника, которую Базен иногда у него нанимает. Вот я и подумал: не даст же мясник свою лошадь так себе, не спросив, куда на ней поедут, – хотя господин Базен вряд ли способен загнать лошадь.

– А он ответил тебе, что господин Базен...

– Поехал в Нуази. Да, кажется, это у него вошло в привычку. Он ездит туда раза два-три в неделю.

– А ты знаешь Нуази?

– Еще бы. Там моя кормилица живет.

– Нет ли в Нуази монастыря?

– Еще какой! Иезуитский!

– Ладно, – сказал д'Артаньян. – Теперь все ясно.

– Стало быть, вы довольны?

– Да. Как тебя зовут?

– Фрике.

Д'Артаньян записал имя мальчика и адрес кабачка.

– А что, господин офицер, – спросил тот, – может быть, мне удастся еще полпистоля заработать?

– Возможно, – сказал д'Артаньян.

И так как он узнал все, что ему было нужно, он заплатил за глинтвейн, которого совсем не пил, и поспешил обратно на Тиктонскую улицу.

Глава IX

О том, как Д'Артаньян, выехав на дальние поиски за Арамисом, вдруг обнаружил его сидящим на лошади позади Планше

Придя домой, д'Артаньян увидел, что у камина сидит какой-то человек: это был Планше, но Планше столь преобразившийся благодаря обноскам, оставленным сбежавшим мужем, что д'Артаньян насилу узнал его. Мадлен представила его д'Артаньяну на глазах у всех слуг. Планше обратился к офицеру с какой-то пышной фламандской фразой, тот ответил ему несколько слов на несуществующем языке, и договор был заключен. Брат Мадлен поступил в услужение к д'Артаньяну.

У д'Артаньяна уже был готов план. Он не хотел приехать в Нуази днем, боясь быть узнаваемым. Таким образом, у него оставалось еще свободное время: Нуази был расположен всего в трех-четыре милях от Парижа по дороге в Мо.

Он начал с того, что основательно позавтракал. Быть может, это плохое начало, если собираешься работать головой, но очень хорошее, если хочешь работать ногами и руками. Потом он переоделся, боясь, чтобы плащ лейтенанта не возбудил подозрений, и выбрал самую прочную и надежную из своих трех шпаг, которую пускал в ход только в важных случаях. Около двух часов он велел оседлать лошадей и в сопровождении Планше выехал через заставу Ла-Виллет. А в соседнем с «Козочкой» доме все еще велись усерднейшие поиски Планше.

Отъехав на полторы мили от Парижа, д'Артаньян заметил, что нетерпение заставило его выехать слишком рано, и остановился, чтобы дать передохнуть лошадям. Гостиница была переполнена людьми довольно подозрительного вида, готовившимися, по-видимому, предпринять какую-то ночную экспедицию. В дверях показался мужчина, закутанный в плащ; заметив постороннего, он сделал знак двум приятелям, сидевшим за столом, и те вышли к нему за дверь.

Д'Артаньян с беспечным видом подошел к трактирщице, похвалил ее отвратительное монреильское вино, задал несколько вопросов о Нуази и узнал, что там всего только два больших дома: один принадлежит парижскому архиепископу, и в нем живет сейчас его племянница, герцогиня де Лонгвиль; другой, где помещается иезуитский монастырь, был, как водится, собственностью достойных отцов. Ошибиться было невозможно.

В четыре часа д'Артаньян снова отправился в путь; он ехал шагом, желая прибыть в Нуази, когда уже совсем стемнеет. Ну а когда едешь шагом зимой, в пасмурную погоду, по скучной дороге, нечего больше делать, кроме того, что делает, по словам Лафонтена, заяц в своей норе: размышлять. Итак, д'Артаньян размышлял, и Планше тоже. Только, как мы увидим дальше, размышления их были разного характера.

Одно слово трактирщицы дало особое направление мыслям д'Артаньяна; это слово было – имя герцогини де Лонгвиль.

В самом деле, герцогиня де Лонгвиль могла хоть кого заставить задуматься: она была одной из знатнейших дам королевства и одной из первых придворных красавиц. Ее выдали замуж за старого герцога де Лонгвиля, которого она не любила. Сперва она слыла любовницей Колиньи, убитого впоследствии из-за нее на дуэли посреди Королевской площади герцогом де Гизом; потом говорили об ее слишком нежной дружбе с принцем Конде, ее братом, и стыдливые души придворных были этим сильно смущены; наконец, говорили, что эта дружба сменилась подлинной и глубокой ненавистью, и в настоящее время герцогиня де Лонгвиль была, по слухам, в политической связи с князем де Марсильяком, старшим сыном старого герцога де Ла Рошфуко, которого она старалась натравить на своего брата, господина герцога де Конде.

Д'Артаньян думал обо всем этом. Он думал, что в Лувре он часто видел проходившую мимо него ослепительную, сияющую красавицу, герцогиню де Лонгвиль. Он думал об Арамисе, который ничем не лучше его, а между тем был когда-то любовником герцогини де Шеврез, игравшей в прошлое царствование ту же роль, как теперь мадам де Лонгвиль. И он спрашивал себя, почему есть на свете люди, которые добиваются всего, чего желают, будь то почести или любовь, между тем как другие застревают на полдороге своих надежд – по вине ли случая, или от незадачливости, или же из-за естественных помех, заложенных в них самой природой.

Д'Артаньян вынужден был сознаться, что, несмотря на весь свой ум и всю свою ловкость, он был и всегда, вероятно, будет в числе последних. Внезапно Планше, подъехав к нему, сказал:

– Бьюсь об заклад, сударь, что вы думаете о том же, о чем и я.

– Наверяд ли, Планше, – сказал, улыбаясь, д'Артаньян. – Но о чем же ты думаешь?

– Я думаю о подозрительных личностях, которые пьянствовали в той харчевне, где мы отдыхали.

– Ты осторожен, как всегда, Планше.

– Это инстинкт, сударь.

– Ну, посмотрим, что тебе говорит твой инстинкт в этом случае.

– Мой инстинкт говорит мне, что эти люди собрались в харчевне с недобрыми намерениями; и я раздумывал о том, что мне говорит мой инстинкт, в самом темном углу конюшни, как вдруг в нее вошел человек, закутанный в плащ, а за ним еще двое.

– А-а, – сказал д'Артаньян, видя, что рассказ Планше совпадает с его собственными наблюдениями. – Ну и что же?

– Один из них сказал: «Он, наверное, должен быть сейчас в Нуази или должен приехать туда сегодня вечером; я узнал его слугу». – «Ты в этом уверен?» – спросил человек в плаще. «Да, принц!» – был ответ...

– Принц? – прервал д'Артаньян.

– Да, принц! Но слушайте же. «Если он там, то решим, что с ним делать», – сказал второй из собутельников. «Что с ним делать?» – повторил принц. «Да. Он ведь не такой человек, чтоб добровольно сдать: он пустит в ход шпагу». – «Тогда придется и вам сделать то же, только старайтесь взять его живьем. Есть ли у нас веревки, чтобы связать его, и тряпка, чтобы заткнуть рот?» – «Все есть». – «Будьте внимательны: он, по всей вероятности, будет переодет». – «Конечно, конечно, монсеньор, будьте покойны». – «Впрочем, я сам там буду и укажу вам». – «Вы ручаетесь, что правосудие?..» – «Ручаюсь за все», – сказал принц. «Хорошо, мы будем стараться изо всех сил». После этого они вышли из конюшни.

– Да какое же это имеет отношение к нам? – сказал д'Артаньян. – Это одно из тех предприятий, какие затеваются ежедневно.

– Вы уверены, что оно не направлено против нас?

– Против нас! С какой стати?

– Гм! Припомните-ка, что они говорили: «Я узнал его слугу», – сказал один; это вполне может относиться ко мне.

– Дальше?

– «Он должен быть сейчас в Нуази или приехать туда сегодня вечером», – это тоже вполне может относиться к вам.

– Еще что?

– Еще принц сказал: «Будьте внимательны: он, по всей вероятности, будет переодет», – это уж, мне кажется, не оставляет никаких сомнений, потому что вы не в форме офицера мушкетеров, а одеты как простой всадник. Ну-ка, что вы на это скажете?

– Увы, мой милый Планше, – сказал д’Артаньян со вздохом, – к несчастью, для меня миновала пора, когда принцы искали случая убить меня. Ах, славное то было время! Будь покоен, мы вовсе не нужны этим людям.

– Уверены ли вы, сударь?

– Ручаюсь.

– Ну, так ладно; тогда нечего и говорить об этом.

И Планше снова поехал позади д’Артаньяна с тем великим доверием, которое он всегда питал к своему господину и которое ничуть не ослабело за пятнадцать лет разлуки.

Они проехали около мили.

К концу этой мили Планше снова поравнялся с д’Артаньяном.

– Сударь, – сказал он.

– Ну? – отозвался тот.

– Поглядите-ка, сударь, в ту сторону; не кажется ли вам, что там, в темноте, двигаются тени? Прислушайтесь: по-моему, слышен лошадиный топот.

– Не может быть, – сказал д’Артаньян, – земля размокла от дождя; но после твоих слов мне тоже кажется, что я что-то вижу. – И он остановился, вглядываясь и прислушиваясь.

– Если не слышно топота лошадей, то по крайней мере слышно их ржание. Слышите?

Действительно, откуда-то из тьмы до слуха д’Артаньяна донеслось отдаленное лошадиное ржание.

– Наши молодцы выступили в поход, – сказал он, – но нас это не касается. Едем дальше.

Они продолжали свой путь.

Через полчаса они достигли первых домов Нуази. Было около половины девятого, а то и все девять часов вечера.

По деревенскому обычаю, все уже спали: в деревне не светило ни одного огонька.

Д’Артаньян и Планше продолжали свой путь.

По обеим сторонам дороги на темно-сером фоне неба выделялись еще более темные уступы крыш. Время от времени за воротами раздавался лай разбуженной собаки, или встревоженная кошка стремительно кидалась с середины улицы и пряталась в куче хвороста, откуда виднелись только ее испуганные глаза, горящие, как карбункулы. Казалось, кошки были единственными живыми существами, обитавшими в деревне.

Посреди селения, на главной площади, темной массой возвышалось большое здание, отделенное от других строений двумя переулками. Огромные липы протягивали к его фасаду свои сухие руки. Д’Артаньян внимательно осмотрел здание.

– Это, – сказал он Планше, – должно быть, замок архиепископа, где живет красавица де Лонгвиль. Но где же монастырь?

– Монастырь в конце деревни, я его знаю.

– Так скачи туда, – сказал д’Артаньян, – пока я подтяну подпругу у лошади; посмотри, нет ли у иезуитов света в каком-нибудь окне, а потом возвращайся ко мне.

Планше повиновался и исчез в темноте, между тем как д’Артаньян, спешившись, стал подтягивать, как и сказал, подпругу.

Через пять минут Планше вернулся.

– Сударь, свет есть только в одном окне, выходящем в поле.

– Гм! – сказал д’Артаньян. – Будь я фрондер, я бы постучался сюда и наверняка нашел бы покойный ночлег; будь я монах, я бы постучался туда и, наверное, получил бы отличный ужин; а мы, очень возможно, заночуем на сырой земле, между замком и монастырем, умирая от жажды и голода.

– Да, как знаменитый Буриданов осел, – прибавил Планше. – А все же – не постучаться ли?

– Ш-ш! – сказал д’Артаньян. – Единственный огонек в окне и тот потух.

– Слышите? – сказал Планше.

– В самом деле, что это за шум?

Послышался гул, как от надвигающегося урагана.

В ту же минуту из двух переулков, прилегающих к дому, вылетели два отряда всадников, человек в десять каждый, и, сомкнувшись, окружили д'Артаньяна и Планше со всех сторон.

– Ого! – сказал д'Артаньян, обнажая шпагу и прячась за лошадь. Планше проделал тот же маневр. – Неужели твоя правда и они впрямь добираются до нас?

– Вот он! Попался! – закричали всадники и бросились с обнаженными шпагами на д'Артаньяна.

– Не упустите! – раздался громкий голос.

– Нет, монсеньор! Будьте покойны.

Д'Артаньян решил, что пора заговорить и ему.

– Эй, слушайте, – сказал он со своим гасконским акцентом, – чего вы хотите? Что вам надо?

– Узнаешь сейчас! – заревели всадники хором.

– Стойте! Стойте! – закричал тот, которого называли монсеньором. – Стойте, говорят вам, это не его голос!

– То-то! – сказал д'Артаньян. – Что тут, в Нуази, все перебесились, что ли? Но берегитесь, предупреждаю вас; первому, кто приблизится на длину моей шпаги, – а она у меня длинная, – я распорю брюхо.

Предводитель подъехал к нему.

– Что вы тут делаете? – спросил он надменным голосом, привыкшим повелевать.

– А вы? – спросил д'Артаньян.

– Повежливее, не то вас проучат как следует! Если я вам себя и не называю, то все же требую, чтобы вы были почтительны к моему сану.

– Вы боитесь назвать себя, потому что командуете разбойничьей шайкой, – сказал д'Артаньян, – но мне, мирно путешествующему со своим лакеем, нет никаких причин скрывать свое имя.

– Ладно, ладно! Кто вы?

– Я назову вам себя, чтобы вы знали, где найти меня, сударь, принц или монсеньор, как вас там зовут, – ответил гасконец, не желавший, чтоб думали, будто он испугался угрозы. – Знаете вы д'Артаньяна?

– Лейтенанта королевских мушкетеров? – спросил голос.

– Этого самого!

– Конечно, знаю.

– Ну так вы, верно, слышали, что у него крепкая рука и острая шпага?

– Вы господин д'Артаньян?

– Я!

– Значит, вы приехали сюда защищать *его*?

– *Его* ... Кого *его*?..

– Того, кого мы ищем.

– Я думал попасть в Нуази, а попал, кажется, в царство загадок, – сказал д'Артаньян.

– Отвечайте же, – сказал тот же надменный голос, – вы его ожидали здесь под окнами?

Вы приехали в Нуази, чтобы защищать его?

– Я никого не жду, – сказал д'Артаньян, начиная терять терпение, – и никого не собираюсь защищать, кроме самого себя; но уж себя-то, предупреждаю вас, буду защищать не шутя.

– Хорошо, – сказал голос, – ступайте отсюда, очистите нам место.

– Уйти отсюда? – сказал д'Артаньян, планы которого нарушались этим приказанием. – Не так-то это легко: я изнемогаю от усталости, и моя лошадь тоже; разве что вы предложите мне ужин и ночлег поблизости.

– Мошенник!

– Эй, сударь, осторожнее в выражениях, прошу вас, потому что если вы скажете еще словечко в этом роде, то, будь вы маркиз, герцог, принц или король, я вам вколочу ваши слова обратно в глотку, слышите!

– Ну, ну, – сказал предводитель, – невозможно ошибиться, сразу слышно, что говорит гасконец и, значит, не тот, кого мы ищем. На этот раз не удалось! Едем! Мы с вами еще встретимся, господин д'Артаньян, – заключил предводитель, возвышая голос.

– Да, но уже не при таких удобных для вас обстоятельствах, – сказал насмешливо гасконец. – Быть может, это будет среди белого дня и вы будете один.

– Ладно, ладно! – сказал голос. – В дорогу, господа!

И отряд всадников, ворча и ругаясь, исчез в темноте, повернув в сторону Парижа.

Д'Артаньян и Планше стояли еще некоторое время настороже; но так как шум все удалялся, они вложили шпаги в ножны.

– Видишь, дурень, – спокойно обратился д'Артаньян к Планше, – они вовсе не до нас добирались.

– А до кого же тогда? – спросил Планше.

– Ей-ей, не знаю! Да и какое мне дело? У меня другая забота: попасть в монастырь к иезуитам. Ну, на коней, и постучимся к ним! Будь что будет, не съедят же они нас, черт побери!

И д'Артаньян вскочил в седло.

Планше только что сделал то же самое, как вдруг на круп его лошади свалилась неожиданная тяжесть, от которой лошадь даже присела на задние ноги.

– Эй, сударь, – закричал Планше, – сзади меня человек сидит!

Д'Артаньян обернулся и в самом деле увидел на лошади Планше две человеческие фигуры.

– Нас сам черт преследует! – воскликнул он, обнажая шпагу и собираясь напасть на ново-прибывшего.

– Нет, милый д'Артаньян, – ответил тот, – это не черт, это я, Арамис. Скачи галопом, Планше, и в конце деревни сверни влево.

Планше с Арамисом за спиной поскакал вперед, и д'Артаньян последовал за ними, начиная думать, что все это фантастический и бессвязный сон.

Глава X Аббат Д'Эрбле

В конце деревни Планше свернул налево, как ему приказал Арамис, и остановился под освещенным окном. Арамис соскочил на землю и трижды хлопнул в ладоши. Тотчас же окно растворилось, и оттуда спустилась веревочная лестница.

– Дорогой друг, – сказал Арамис, – если вам угодно подняться, я буду счастлив принять вас.

– Вот как! – сказал д'Артаньян. – Всегда у вас так входят в дом?

– После девяти вечера поневоле приходится, черт возьми! Монастырский устав очень строг!

– Простите, мой друг, мне послышалось, вы сказали «черт возьми»?

– Право? – засмеялся Арамис. – Это возможно; вы не можете себе представить, дорогой мой, сколько дурных привычек приобретаешь в этих проклятых монастырях и какие скверные манеры у всех этих отцов, с которыми я принужден жить. Что же вы не поднимаетесь?

– Ступайте вперед, я за вами.

– «Чтоб указать вам дорогу, ваше величество», – как сказал покойный кардинал покойному королю.

Арамис проворно вскарабкался по лестнице и в одно мгновение очутился в окне.

Д'Артаньян полез за ним, но медленнее; видно было, что пути такого рода были ему менее привычны, чем его другу.

– Извините, – сказал Арамис, заметив его неловкость, – если б я знал, что вы окажете мне честь своим посещением, я приказал бы поставить садовую лестницу; а с меня и такой хватает.

– Сударь, – сказал Планше, когда д'Артаньян почти уже достиг цели, – этакий способ хорош для господина Арамиса, кой-как годится для вас, да и для меня тоже, куда ни шло. Но лошадям по веревочной лестнице ни за что не подняться.

– Отведите их под тот навес, мой друг, – сказал Арамис, указывая Планше на какое-то строение, стоящее среди поля, – там вы найдете для них овес и солому.

– А для меня? – спросил Планше.

– Вы подойдете к этому окну, хлопнете три раза в ладоши, и мы спустим вам съестного.

Будьте покойны, черт побери, здесь не умирают с голоду. Ступайте!

И Арамис, втянув лестницу, закрыл окно.

Д'Артаньян с любопытством осмотрел комнату.

Никогда еще не видел он более воинственно и вместе с тем более изящно убранного помещения. В каждом углу красовались военные трофеи – главным образом шпаги, а четыре большие картины изображали в полном боевом вооружении кардинала Лотарингского, кардинала Ришелье, кардинала Лавалета и бордоского архиепископа. Правда, кроме них, ничто не напоминало о том, что это жилище аббата: на стенах шелковая обивка, повсюду алансонские ковры, а постель с кружевами и пышным покрывалом походила больше на постель хорошенькой женщины, чем на ложе человека, давшего обет достигнуть рая ценой воздержания и умерщвления плоти.

– Вы рассматриваете мою келью? – сказал Арамис. – Ах, дорогой мой, извините меня. Что делать! Живу как монах-отшельник. Но что вы озираетесь?

– Не пойму, кто спустил вам лестницу; здесь никого нет, а не могла же лестница явиться сама собой.

– Нет, ее спустил Базен.

– А-а, – протянул д'Артаньян.

– Но, – продолжал Арамис, – Базен у меня хорошо вымуштрован: он увидел, что я возвращаюсь не один, и удалился из скромности. Садитесь, милый мой, потолкуем.

И Арамис придвинул д'Артаньяну широкое кресло, в котором тот удобно развалился.

– Прежде всего вы со мной отужинаете, не правда ли? – спросил Арамис.

– Да, если вам угодно, и даже с большим удовольствием, – сказал д'Артаньян. – Признаюсь, за дорогу я чертовски проголодался.

– Ах, бедный друг! – сказал Арамис. – У меня сегодня скудно, не взыщите, мы вас не ждали.

– Неужели мне угрожает криверская яичница с «теобромом»? Так ведь, кажется, вы прежде называли шпинат?

– О, нужно надеяться, – ответил Арамис, – что с помощью божьей и Базена мы найдем что-нибудь получше в кладовых у достойных отцов иезуитов. Базен, друг мой! – позвал он. – Базен, подите сюда!

Дверь отворилась, и явился Базен; но, увидев д'Артаньяна, он издал восклицание, похожее скорее на вопль отчаяния.

– Мой милый Базен, – сказал д'Артаньян, – мне очень приятно видеть, с какой восхитительной уверенностью вы лжете даже в церкви.

– Сударь, я узнал от достойных отцов иезуитов, – возразил Базен, – что ложь дозволительна, когда лгут с добрым намерением.

– Хорошо, хорошо, Базен. Д'Артаньян умирает с голоду, и я тоже; подайте нам ужин, да получше, а главное, принесите хорошего вина.

Базен поклонился в знак покорности, тяжело вздохнул и вышел.

– Теперь мы одни, милый Арамис, – сказал д'Артаньян, переводя глаза с мебелировки на хозяина и рассматривая его одежду, чтобы довершить обзор. – Скажите мне, откуда свалились вы вдруг на лошадь Планше?

– Ох, черт побери, – сказал Арамис, – сами понимаете – с неба!

– С неба! – повторил д'Артаньян, покачивая головой. – Непохоже, чтобы вы оттуда явились или чтобы вы туда попали когда-нибудь.

– Мой милый, – сказал Арамис с самодовольством, какого д'Артаньян никогда не видел в нем в те времена, когда он был мушкетером, – если я явился и не с неба, то уж наверное из рая, а это почти одно и то же.

– Наконец-то мудрецы решат этот вопрос! – воскликнул д'Артаньян. – До сих пор они никак не могли столкнуться относительно точного местонахождения рая: одни помещали его на горе Арарат, другие – между Тигром и Евфратом; оказывается, его искали слишком далеко, а он у нас под боком: рай – в Нуази-ле-Сек, в замке парижского архиепископа. Оттуда выходят не в дверь, а в окно; спускаются не по мраморным ступеням лестницы, а цепляясь за липовые ветки, и стерегущий его ангел с огненным мечом, мне кажется, изменил свое небесное имя Гавриила на более земное имя принца де Марсильяка.

Арамис расхохотался.

– Вы по-прежнему веселый собеседник, мой милый, – сказал он, – и ваше гасконское остроумие вам не изменило. Да, в том, что вы говорите, есть доля правды; но не подумайте только, что я влюблен в госпожу де Лонгвиль.

– Еще бы! После того как вы были так долго возлюбленным госпожи де Шеврез, не отдадите же вы свое сердце ее смертельному врагу.

– Да, правда, – спокойно ответил Арамис, – когда-то я очень любил эту милую герцогиню, и, надо отдать ей справедливость, она была нам очень полезна. Но что делать! Ей пришлось покинуть Францию. Беспощадный был враг этот проклятый кардинал, – продолжал Арамис, бросив взгляд на портрет покойного министра. – Он приказал арестовать ее и препроводить в замок Лош. Ей-богу, он отрубил бы ей голову, как Шале, Монморанси и Сен-Марсу; но она

спаслась, переодевшись мужчиной, вместе со своей горничной, бедняжкой Кэтти; у нее было даже, я слышал, забавное приключение в одной деревне с каким-то священником, у которого она просила ночлега и который, располагая всего лишь одной комнатой и приняв госпожу де Шеврез за мужчину, предложил разделить эту комнату с ней. Она ведь изумительно ловко носила мужское платье, эта милейшая Мари. Я не знаю другой женщины, которой бы оно так шло; потому-то на нее и написали куплеты:

Лабуассьер, скажи, на ком...

Вы их знаете?

– Нет, не знаю; спойте, мой дорогой.

И Арамис запел с самым игривым видом:

Лабуассьер, скажи, на ком
Мужской наряд так впору?
Вы гарцуете верхом
Лучше нас, без спору.
Она,
Как юный новобранец
Среди рубак и пьяниц,
Мила, стройна.

– Bravo! – сказал д'Артаньян. – Вы все еще чудесно поете, милый Арамис, и я вижу, что обедня не испортила вам голос.

– Дорогой мой, – сказал Арамис, – знаете, когда я был мушкетером, я всеми силами старался нести как можно меньше караулов; теперь, став аббатом, я стараюсь служить как можно меньше обеден. Но вернемся к бедной герцогине.

– К которой? К герцогине де Шеврез или к герцогине де Лонгвиль?

– Друг мой, я уже сказал, что между мной и герцогиней де Лонгвиль нет ничего: одни шутки, не больше. Я говорю о герцогине де Шеврез. Вы виделись с ней по возвращении ее из Брюсселя после смерти короля?

– Конечно. Она тогда была еще очень хороша.

– Да, и я тоже как-то виделся с ней в то время; я давал ей превосходные советы, но она не воспользовалась ими; я распинался, уверяя, что Мазарини – любовник королевы; она не хотела мне верить, говорила, что хорошо знает Анну Австрийскую и что та слишком горда, чтобы любить подобного негодяя. Потом она очертя голову ринулась в заговор герцога Бофора, а негодяй взял да и приказал арестовать герцога Бофора и изгнать герцогиню де Шеврез.

– Вы знаете, – сказал д'Артаньян, – она получила разрешение вернуться.

– Да, и уже вернулась... Она еще наделает глупостей.

– О, быть может, на этот раз она последует вашим советам?

– О, на этот раз, – сказал Арамис, – я с ней не виделся; она, наверно, сильно изменилась.

– Не то, что вы, милый Арамис; вы все прежний. У вас все те же прекрасные черные волосы, тот же стройный стан и женские руки, ставшие прекрасными руками прелата.

– Да, – сказал Арамис, – это правда, я забочусь о своей внешности. Но знаете, друг мой, я старею: скоро мне стукнет тридцать семь лет.

– Послушайте, – сказал д'Артаньян, улыбаясь, – раз уж мы с вами встретились, так условимся, сколько нам должно быть лет на будущее время.

– Как так? – спросил Арамис.

– Да, – продолжал д'Артаньян, – в прежнее время я был моложе вас на два или три года, а мне, если не ошибаюсь, уже стукнуло сорок.

– В самом деле? – сказал Арамис. – Значит, я ошибаюсь, потому что вы всегда были отличным математиком. Так по вашему счету выходит, что мне уже сорок три года? Черт возьми! Не проговоритесь об этом в отеле Рамбулье: это может мне повредить.

– Будьте покойны, – сказал д'Артаньян, – я там не бываю.

– Да ну?! Но чего застрял там этот скотина Базен? – вскричал Арамис. – Живей, болван, поворачивайся! Мы умираем от голода и жажды!

Вошедший в эту минуту Базен воздел к небу бутылки, которые держал в руках.

– Наконец-то! – сказал Арамис. – Ну как, все готово?

– Да, сударь, сию минуту. Ведь не скоро подашь все эти...

– Потому что вы воображаете, будто на вас все еще церковный балахон, и вы только и делаете, что читаете требник. Но предупреждаю вас, что если, перетирая церковные принадлежности в своих часовнях, вы разучитесь чистить мою шпагу, я сложу костер из всех ваших икон и поджарю вас на нем.

Возмущенный Базен перекрестился бутылкой. Д'Артаньян, пораженный тоном и манерами аббата д'Эрбле, столь непохожими на тон и манеры мушкетера Арамиса, глядел на своего друга во все глаза.

Базен живо накрыл стол камчатной скатертью и расставил на нем столько хорошо зажаренных ароматных и соблазнительных кушаний, что д'Артаньян остолбенел от удивления.

– Но вы, наверное, ждали кого-нибудь? – спросил он.

– Гм! – ответил Арамис. – Я всегда готов принять гостя; да к тому же я знал, что вы меня ищите.

– От кого?

– Да от самого Базена, который принял вас за дьявола и прибежал предупредить меня об опасности, грозящей моей душе в случае, если я опять попаду в дурное общество мушкетерского офицера.

– О, сударь! – умоляюще промолвил Базен, сложив руки.

– Пожалуйста, без лицемерия. Вы знаете, я этого не люблю. Откройте-ка лучше окно да спустите хлеб, цыпленка и бутылку вина своему другу Планше: он уже целый час из сил выбивается, хлопая в ладоши под окном.

Действительно, Планше, задав лошадям овса и соломы, вернулся под окно и уже три раза повторил условный сигнал.

Базен повиновался и, привязав к концу веревки три названных предмета, спустил их Планше. Последний, не требуя большего, тотчас ушел к себе под навес.

– Теперь давайте ужинать, – сказал Арамис.

Друзья сели за стол, и Арамис принялся резать ветчину, цыплят и куропаток с мастерством настоящего гастронома.

– Черт возьми, как вы едите! – сказал д'Артаньян.

– Да, неплохо. А на постные дни у меня есть разрешение из Рима, которое выхлопотал мне по слабости моего здоровья господин коадьютор. К тому же я взял к себе бывшего повара господина Лафолона, знаете, старого друга кардинала, того знаменитого обжоры, который вместо молитвы говорил после обеда: «Господи, помоги мне хорошо переварить то, чем я так славно угостился».

– И все же это не помешало ему умереть от расстройства желудка, – заметил, смеясь, д'Артаньян.

– Что делать? – сказал Арамис с покорностью. – От судьбы не уйдешь.

– Простите, дорогой мой, но можно вам задать один вопрос?

– Ну разумеется, задавайте: вы ведь знаете, между нами нет тайн.

– Вы разбогатели?

– О, боже мой, нисколько. Я имею в год двенадцать тысяч ливров, да еще маленькое пособие в тысячу экю, которое мне выхлопотал принц Конде.

– Чем же вы зарабатываете эти двенадцать тысяч, – спросил д'Артаньян, – своими стихами?

– Нет, я бросил поэзию; так только, иногда сочиняю какие-нибудь застольные песни, любовные сонеты или невинные эпиграммы. Я пишу проповеди, мой милый!

– Как, проповеди?

– Замечательные проповеди, уверяю вас. По крайней мере по отзывам других.

– И вы сами их произносите?

– Нет, я их продаю.

– Кому?

– Тем из моих собратьев, которые мечтают сделаться великими ораторами.

– Вот как! А вас самого разве никогда не прельщала слава?

– Разумеется, прельщала, но моя натура одержала верх. Когда я на кафедре и на меня смотрит хорошенькая женщина, то я начинаю на нее смотреть; она улыбается, я улыбаюсь тоже. Тогда я сбиваюсь с толку и несу чепуху; вместо того чтобы говорить об адских муках, я говорю о райском блаженстве. Да вот, к примеру, со мной так и случилось в церкви Святого Людовика в Маре... Какой-то дворянин рассмеялся мне прямо в лицо. Я прервал свою проповедь и заявил ему, что он дурак. Прихожане отправились за камнями, а я тем временем так настроил собрание, что камни полетели в дворянина. Правда, наутро он явился ко мне, воображая, что имеет дело с обыкновенным аббатом.

– И какие же последствия имел этот визит? – спросил д'Артаньян, хватаясь за бока от хохота.

– Последствием было то, что мы назначили на другой день встречу на Королевской площади. Да ведь вы сами знаете, как было дело, черт возьми!

– Уж не против ли этого невежи выступал я вашим секундантом? – спросил д'Артаньян.

– Именно. Вы видели, как я его отделал.

– И он умер?

– Решительно не знаю. Но на всякий случай я дал ему отпущение грехов – *in articulo mortis*.⁷ Достаточно убить тело, а душу губить не следует.

Базен сделал жест отчаяния, показавший, что он, может быть, и одобряет такую мораль, но отнюдь не одобряет тон, каким она высказана.

– Базен, любезнейший, вы не замечаете, что я вижу вас в зеркале! А ведь я вам запретил раз навсегда всякие выражения одобрения или порицания. Будьте добры, принесите-ка нам испанского вина и отправляйтесь в свою комнату. К тому же мой друг д'Артаньян желает сказать мне кое-что по секрету. Не правда ли, д'Артаньян?

Д'Артаньян утвердительно кивнул головой, и Базен, подав испанское вино, удалился.

Оставшись одни, друзья некоторое время молчали. Арамис, казалось, предавался приятному пищеварению, а д'Артаньян готовился приступить к своей речи. Оба украдкой поглядывали друг на друга.

Арамис первый прервал молчание.

⁷ Перед самой кончиной (*лат.*).

Глава XI

Два хитреца

– О чем вы думаете, д'Артаньян, и чему улыбаетесь?

– Я думаю, – сказал д'Артаньян, – что, когда вы были мушкетером, вы всегда смахивали на аббата, а теперь, став аббатом, вы сильно смахиваете на мушкетера.

– Это верно, – засмеялся Арамис. – Человек, как вы знаете, мой дорогой д'Артаньян, странное животное, целиком состоящее из противоречий. С тех пор как я стал аббатом, я только и мечтаю что о сражениях.

– Это видно по вашей обстановке: сколько у вас тут рапир, и на любой вкус! А фехтовать вы не разучились?..

– Я? Да я теперь фехтую так же, как фехтовали вы в былое время, даже лучше, быть может. Я этим только и занимаюсь целый день.

– С кем же?

– С превосходным учителем фехтования, который живет здесь.

– Как, здесь?

– Да, здесь, в этом самом монастыре. В иезуитских монастырях можно встретить кого угодно...

– В таком случае вы убили бы господина де Марсильяка, если бы он напал на вас один, а не во главе двадцати человек?

– Непременно, – сказал Арамис, – и даже во главе его двадцати человек, если бы только я мог пустить в ход оружие, не боясь быть узнанным.

«Да он стал гасконцем не хуже меня, черт побери!» – подумал д'Артаньян и прибавил вслух:

– Итак, мой милый Арамис, вы спрашиваете, для чего я вас разыскивал?

– Нет, я этого не спрашивал, – лукаво заметил Арамис, – но я ждал, когда вы сами мне это скажете.

– Ну хорошо, так вот, я искал вас единственно для того, чтобы предложить вам возможность убить господина де Марсильяка, когда вам заблагорассудится, хотя он и светлейший принц.

– Так, так, так! Это мысль! – сказал Арамис.

– Которую я и предлагаю вам воспользоваться, дорогой мой. У вас тысяча экю дохода в аббатстве, да от продажи проповедей вы имеете двенадцать тысяч. Но скажите: богаты ли вы сейчас? Отвечайте откровенно!

– Богат? Да я нищ, как Иов! Обшарьте у меня все карманы и ящики – больше сотни пистолей и не найдете.

«Сто пистолей, черт возьми! И это он называет быть нищим, как Иов! – подумал д'Артаньян. – Будь они у меня всегда под рукой, я был бы богат, как Крез».

Затем прибавил вслух:

– Вы честолюбивы?

– Как Энкелад.

– Так вот, мой друг, я дам вам возможность стать богатым, влиятельным и получить право делать все, что вздумается.

Облачко пробежало по челу Арамиса, такое же мимолетное, как тень, пробегающая по ниве в августе месяце; но, как ни было оно мимолетно, д'Артаньян все же его заметил.

– Говорите, – сказал Арамис.

– Сперва еще один вопрос. Вы занимаетесь политикой?

В глазах Арамиса сверкнула молния, такая же быстрая, как тень, промелькнувшая по его лицу прежде, но все же недостаточно быстрая, чтобы ее не заметил д'Артаньян.

– Нет, – ответил Арамис.

– Тогда любое предложение вам будет на руку, раз сейчас над вами нет иной власти, кроме божьей, – засмеялся гасконец.

– Возможно.

– Вспоминаете ли вы иногда, милый Арамис, о славных днях нашей молодости, проведенных среди смеха, попок и поединков?

– Да, конечно, и не раз жалел о них. Счастливое было время! *Delectabile tempus!*⁸

– Так вот, друг мой, эти веселые дни могут повториться, это счастливое время может вернуться. Мне поручено разыскать моих товарищей, и я начал именно с вас, потому что вы были душой нашего союза.

Арамис поклонился скорее из вежливости, чем из благодарности.

– Опять окунуться в политику! – проговорил Арамис умирающим голосом и откидываясь на спинку кресла. – Ах, дорогой д'Артаньян, вы видите, как размеренно и привольно течет моя жизнь. А неблагодарность знатных людей мы с вами испытали, не так ли?

– Это правда, – сказал д'Артаньян, – но, может быть, эти знатные люди раскаялись в своей неблагодарности?

– В таком случае другое дело. На всякий грех – снисхождение. К тому же вы совершенно правы в одном, а именно – что если уж у нас опять явилась охота путаться в государственные дела, то сейчас, мне кажется, самое время.

– Откуда вы это знаете? Ведь вы не занимаетесь политикой?

– Ах боже мой! Хоть я сам и не занимаюсь ею, зато живу в такой среде, где ею очень занимаются. Увлекаясь поэзией и предаваясь любви, я близко сошелся с Саразеном, сторонником господина де Конти, с Вуатюром, сторонником коадьютора, и с Буа-Робером, который, с тех пор как не стало кардинала Ришелье, не стоит ни за кого или, если хотите, стоит сразу за всех; так что дела политические не так уж мне чужды.

– Так я и думал, – сказал д'Артаньян.

– Впрочем, друг мой, все, что я скажу вам, – это лишь речи скромного монаха, человека, который, как эхо, просто повторяет все, что слышит от других. Я слышал, что в настоящую минуту кардинал Мазарини очень обеспокоен оборотом дел. По-видимому, его распоряжения не пользуются тем уважением, с каким прежде относились к приказаниям нашего бывшего пугала, покойного кардинала, чей портрет вы здесь видите; ибо, что ни говори, а, нужно признаться, он был великий человек.

– В этом я вам не буду противоречить, милый Арамис. Ведь это он произвел меня в лейтенанты.

– Сначала я был всецело на стороне нового кардинала; я говорил себе, что министр никогда не пользуется любовью и что, обладая большим умом, какой ему приписывают, он в конце концов все же восторжествует над своими врагами и заставит бояться себя, что, по-моему, пожалуй, лучше, чем заставить полюбить себя.

Д'Артаньян кивнул головой в знак того, что вполне согласен с этим сомнительным суждением.

– Вот каково, – продолжал Арамис, – было мое первоначальное мнение; но так как обет смирения, данный мною, обязывает меня не полагаться на собственное мнение, то я навел справки, и вот, мой друг...

Арамис умолк.

⁸ Веселое время! (*лат.*)

– Что – и вот?

– И вот, я должен был смирить свою гордыню; оказалось, что я ошибся.

– В самом деле?

– Да. Я навел справки, как уже вам говорил, и вот что ответили мне многие лица, совершенно различных взглядов и намерений: «Господин де Мазарини вовсе не такой гениальный человек, каким вы его себе воображаете».

– Неужели? – сказал д'Артаньян.

– Да. Это ничтожная личность, бывший лакей кардинала Бентиволио, путем интриг вылезший в люди; выскочка, человек без имени, он думает не о Франции, а только о самом себе. Он нагребит денег, разворует казну короля, выплатит самому себе все пенсии, которые покойный кардинал Ришелье щедро раздавал направо и налево, но ему не суждено управлять страной ни по праву сильного, ни по праву человека великого, ни даже по праву человека, пользующегося всеобщим уважением. Кроме того, по-видимому, у этого министра нет ни благородного сердца, ни благородных манер, это какой-то комедиант, Пульчинелло, Панталоне. Вы его знаете? Я совсем не знаю.

– Гм, – ответил д'Артаньян, – в том, что вы говорите, есть доля правды.

– Мне очень лестно, что благодаря природной проницательности мне удалось сойтись во взглядах с вами – человеком, живущим при дворе.

– Но вы говорили мне о его личности, а не о его партии, не о его друзьях.

– Это правда. За него стоит королева.

– А это, мне кажется, уже кое-чего стоит.

– Но король не за него.

– Ребенок!

– Ребенок, который через четыре года будет совершеннолетним.

– Дело в настоящем.

– Да, но настоящее не будущее; да и в настоящем он не имеет на своей стороне ни парламента, ни народа, то есть – денег; ни дворянства, ни знати, то есть – шпаги.

Д'Артаньян почесал за ухом. Он должен был сознаться, что это не только глубокая, но и верная мысль.

– Вот видите, дружище, я еще не потерял своей обычной проницательности. Может быть, я напрасно говорю с вами так откровенно: мне кажется, вы склоняетесь на сторону Мазарини.

– Я? – вскричал д'Артаньян. – Ничуть!

– Вы говорили о поручении.

– Разве я говорил о поручении? В таком случае я плохо выразился. Нет, я всегда думал то же, что вы. Дела запутались; не бросить ли нам перо по ветру и не пойти ли в ту сторону, куда ветер понесет его? Вернемся к прежней жизни приключений. Нас было четыре смелых рыцаря, четыре связанных дружбой сердца, соединим снова не сердца, – потому что сердца наши всегда оставались неразлучными, – но нашу судьбу и мужество. Представляется случай приобрести нечто лучше алмаза.

– Вы правы, д'Артаньян, совершенно правы, – ответил Арамис, – и доказательство я вижу в том, что у меня самого была та же мысль. Только мне она была подсказана другими, так как я не обладаю вашим живым и неистощимым воображением: в наше время все нуждаются в посредниках. Мне было сделано предложение: кое-что из наших былых подвигов стало известно, и затем, скажу вам откровенно, я проболтался коадьютору.

– Господину де Гонди, врагу кардинала? – вскричал д'Артаньян.

– Нет, другу короля, – ответил Арамис, – другу короля, понимаете? Так вот, требуется послужить королю, а это – долг каждого дворянина.

– Но ведь король заодно с Мазарини, мой дорогой.

– На деле – так, но против воли; поступками, но не сердцем. В этом и состоит западня, которую враги короля готовят бедному ребенку.

– Вот как! Но вы предлагаете мне просто-напросто междоусобную войну, милый Арамис!

– Войну за короля.

– Но король встанет во главе той армии, где будет Мазарини.

– А сердце его останется в армии, которой будет командовать господин де Бофор.

– Господин де Бофор! Он в Венсенском замке.

– Разве я сказал – Бофор? Ну, не Бофор, так кто-нибудь другой; не Бофор, так принц Конде.

– Но принц уезжает в действующую армию, и он всецело предан кардиналу.

– Гм-гм! – ответил Арамис. – У них сейчас как раз какие-то нелады. Но даже если и не принц, то хотя бы господин де Гонди...

– Господин де Гонди не сегодня-завтра будет кардиналом; для него испрашивают кардинальскую шапку.

– Разве не бывало воинственных кардиналов? – сказал Арамис. – Поглядите на стены: вокруг вас четыре кардинала, которые во главе армии были не хуже господ Гебриана и Гассиона.

– Хорош будет горбатый полководец!

– Горб скроют латы. К тому же вспомните, Александр хромал, а Ганнибал был одноглазым.

– Вы думаете, эта партия доставит вам большие выгоды? – спросил д'Артаньян.

– Она мне доставит покровительство могущественных людей.

– И проскрипции правительства?

– Парламент и мятежи помогут их отменить.

– Все, что вы говорите, могло бы осуществиться, если б удалось разлучить короля с его матерью.

– Этого, может быть, добьются.

– Никогда! – вскричал д'Артаньян с убеждением. – Вы сами тому свидетель, Арамис, вы, знающий Анну Австрийскую так же хорошо, как я. Думаете вы, что она когда-нибудь способна забыть, что сын ее опора, ее защита, залог ее благополучия, ее счастья, ее жизни? Ей следовало бы перейти вместе с ним на сторону знати и бросить Мазарини, но вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что у нее есть серьезные причины не покидать его.

– Может быть, вы правы, – задумчиво сказал Арамис. – Я, пожалуй, к ним не примкну...

– К ним! А ко мне? – сказал д'Артаньян.

– Ни к кому. Я священник; какое мне дело до политики? У меня даже требника никогда в руках не бывает. Довольно с меня моей клиентуры: продувных остроумцев аббатов и хорошеньких женщин. Чем больше путаницы в государственных делах, тем меньше шума из-за моих шалостей; все идет чудесно и без моего вмешательства. Решительно, дорогой друг, я ни во что не стану вмешиваться.

– И в самом деле, мой дорогой, – сказал д'Артаньян, – меня начинает заражать ваша философия. Право, не понимаю, какая муха вдруг меня укусила! У меня есть служба, которая меня кое-как кормит. После смерти Тревиля – бедняга стареет! – я могу стать капитаном. Это совсем не плохой маршальский жезл для гасконского дворянина, младшего в роду, и я чувствую, что вообще имею склонность к пище скромной, но ежедневной. Чем гоняться за приключениями, я лучше приму приглашение Портоса, поеду охотиться в его поместье. Вы знаете, у Портоса есть поместье.

– Как же! Конечно, знаю. Десять миль лесов, болот и лугов; он владыка гор и долин и тягается с нуайонским епископом за феодальные права.

«Отлично, – подумал д'Артаньян, – это-то мне и надо было знать. Портос в Пикардии».

- И он носит теперь свою прежнюю фамилию дю Валлон? – спросил он вслух.
- Да, и прибавил еще к ней фамилию де Брасье; так называется его земля, которая давала некогда права на баронский титул!
- Так что мы увидим Портоса бароном?
- Без сомнения. Особенно хороша будет баронесса Портос!
- Оба приятеля расхохотались.
- Итак, – заговорил д'Артаньян, – вы не желаете стать сторонником Мазарини?
- А вы сторонником принцев?
- Нет. Ну, так не будем ничьими сторонниками и останемся друзьями; не будем ни кардиналистами, ни фрондерами.
- Да, – сказал Арамис, – будем мушкетерами.
- Хотя бы в сутане.
- Особенно в сутане, – воскликнул Арамис, – в том-то и прелесть.
- Ну, так прощайте, – сказал, вставая, д'Артаньян.
- Я вас не удерживаю, мой дорогой, – сказал Арамис, – потому что мне негде было бы вас положить. А предложить вам ночевать с Планше в сарае было бы неприлично.
- К тому же я всего в трех милях от Парижа. Лошади отдохнули, не пройдет и часа, как я буду дома.
- Д'Артаньян налил себе последний стакан.
- За наше доброе старое время!
- Да, – подхватил Арамис, – к сожалению, оно прошло... *Fugit irreparabile tempus...*⁹
- Ба! Оно, может быть, еще вернется. На всякий случай, если я вам понадобится, запомните: Тиктонская улица, гостиница «Козочка».
- А я – здесь, в иезуитском монастыре. С шеста утра до восьми вечера – в двери, с восьми вечера до шести утра – через окно.
- До свидания, мой дорогой.
- О, я вас так не отпущу, позвольте мне проводить вас.
- И Арамис взялся за плащ и шпагу.
- «Он хочет удостовериться в моем отъезде», – подумал д'Артаньян.
- Арамис свистнул, но Базен дремал в передней над остатками ужина, и Арамис принужден был дернуть его за ухо, чтобы разбудить.
- Базен потянулся, протер глаза и попытался опять уснуть.
- Ну-ка, соня, скорей лестницу.
- Да она, – сказал Базен, зевая до ушей, – осталась висеть в окне, лестница-то.
- Другую, давай садовую лестницу. Не видишь разве, господин д'Артаньян с трудом поднимался, а спускаться ему будет еще труднее.
- Д'Артаньян хотел было уверить Арамиса, что он отлично спустится, но ему пришла в голову одна мысль, и он промолчал.
- Базен глубоко вздохнул и ушел за лестницей. Через минуту хорошая и надежная деревянная лестница была приставлена к окну.
- Вот это так лестница, – сказал д'Артаньян, – по такой и женщина поднимется.
- Пристальный взгляд Арамиса, казалось, хотел прочесть его мысли в самой глубине сердца, но д'Артаньян выдержал этот взгляд с замечательным простодушием.
- К тому же он уже поставил ногу на первую ступеньку и начал спускаться.
- В один миг он был на земле. Базен остался у окна.
- Жди тут, – сказал Арамис, – я сейчас вернусь.
- Оба направились к сараю; навстречу им вышел Планше, держа под уздцы лошадей.

⁹ Безвозвратно бежит время... (лат.)

– Превосходно! Вот толковый и расторопный слуга! Не то что мой лентяй Базен, который ни к черту не годится с тех пор, как служит в церкви. Ступайте за нами, Планше, – сказал Арамис, – мы пройдемся пешком до конца деревни.

Действительно, друзья прошли всю деревню, толкуя о разных пустяках; у последнего дома Арамис сказал:

– Ну, друг мой, идите своим путем. Счастье вам улыбается, не упускайте его. Помните, счастье – это куртизанка; обращайтесь с ним, как оно того заслуживает. Ну а я останусь в своем ничтожестве и при своей лени. Прощайте.

– Итак, значит, решено и подписано: мое предложение вам не подходит?

– Оно бы мне очень подошло, – сказал Арамис, – будь я человек как другие, но, повторяю вам, я весь состою из противоречий: то, что ненавижу сегодня, я обожаю завтра, *et vice versa*.¹⁰ Вы видите, я не могу принять на себя обязательства, как, например, вы, у которого вполне определенные взгляды.

«Врешь, хитрец, – сказал себе д'Артаньян, – наоборот, ты-то умеешь выбрать цель и пробираться к ней тайком».

– Так до свидания, дорогой, – продолжал Арамис, – и спасибо вам за добрые намерения, а в особенности за приятные воспоминания, которые ваше появление пробудило во мне.

Они обнялись. Планше сидел уже на коне. Д'Артаньян также вскочил в седло, он и Арамис еще раз пожали друг другу руки. Всадники пришпорили лошадей и поскакали по направлению к Парижу.

Арамис стоял посреди дороги до тех пор, пока не потерял их из виду.

Но д'Артаньян, отъехав шагов двести, круто осадил лошадь, соскочил наземь, бросил поводья Планше и, вынув из кобуры пистолеты, засунул их себе за пояс.

– Что случилось? – спросил испуганный Планше.

– То, что как он ни хитрит, – ответил д'Артаньян, – а меня не одурачит. Стой здесь и жди меня, только в стороне от дороги.

С этими словами д'Артаньян перескочил канаву, шедшую вдоль дороги, и пустился через поле, в обход деревни. Он заметил между домом, где жила г-жа де Лонгвиль, и иезуитским монастырем пустырь, окруженный только живой изгородью.

Может быть, час назад ему и нелегко было бы отыскать эту изгородь, но теперь взошла луна, и хотя она время от времени скрывалась за облаками, все же можно было довольно ясно видеть дорогу, даже когда луна исчезала.

Д'Артаньян добрался до изгороди и пошел, крадучись, в ее тени. Проходя мимо дома, где произошла описанная нами сцена, он заметил, что окно Арамиса освещено; но он был уверен, что Арамис еще не вернулся к себе, а когда вернется, то вернется не один.

Действительно, он вскоре услышал приближающиеся шаги и как будто заглушенные голоса.

Шаги затихли у изгороди.

Д'Артаньян опустил на колени, выискивая себе место, где изгородь была гуще.

В эту минуту, к великому удивлению д'Артаньяна, появилось двое мужчин. Но его удивление длилось недолго; он услышал нежный, благозвучный голос. Один из мужчин был женщиной, переодетой в мужское платье.

– Успокойтесь, милый Рене, – говорил нежный голос, – это никогда больше не повторится. Я обнаружила нечто вроде подземного хода под улицей: нам стоит только поднять одну плиту возле двери, выход открыт.

¹⁰ И наоборот (*лат.*).

– О, клянусь вам, принцесса, – ответил другой голос, в котором д'Артаньян узнал голос Арамиса, – если бы ваше доброе имя не зависело от этих предосторожностей и если бы я рисковал только собственной жизнью...

– Да, да, я знаю, вы человек светский и в то же время отважны и храбры. Но вы принадлежите не только мне, вы принадлежите всей нашей партии. Будьте же осторожны, будьте благоразумны.

– Я всегда повинуюсь, сударыня, – сказал Арамис, – когда мне приказывают таким приятным голосом.

Он нежно поцеловал ее руку.

– Ах! – воскликнул кавалер, обладавший приятным голосом.

– Что такое? – спросил Арамис.

– Разве вы не видите, ветер унес мою шляпу!

Арамис бросился за улетевшей шляпой. Д'Артаньян воспользовался минутой и перешел на другое место, где изгородь была не так густа и он мог свободно рассмотреть таинственного спутника Арамиса. В этот миг луна, быть может, столь же любопытная, как наш офицер, вышла из-за облака, и при ее нескромном свете д'Артаньян узнал большие голубые глаза, золотые волосы и гордую головку герцогини де Лонгвиль.

Арамис, смеясь, вернулся с одной шляпой в руках, а другой на голове, и оба направились к иезуитскому монастырю.

– Отлично, – сказал, вставая и стряхивая пыль с колен, д'Артаньян, – теперь я тебя раскусил: ты фрондер и любовник госпожи де Лонгвиль.

Глава XII

Господин Портос дю Валлон де Брасье де Пьерфон

Благодаря сведениям, полученным от Арамиса, д'Артаньян, помнивший, что истинная фамилия Портоса была дю Валлон, узнал теперь, что по названию поместья, которым он владел, он именуется еще де Брасье и что из-за этого поместья он вел процесс с нуайонским епископом.

Следовательно, искать его надо было в окрестностях Нуайона, иначе говоря, на границе Иль-де-Франса и Пикардии.

Свой маршрут д'Артаньян выработал немедленно. Он отправится в Даммартен, где сходятся две дороги: одна ведет в Суассон, другая – в Компьен; тут он наведет справки об имении Брасье и, смотря по указанию, поедет прямо или свернет влево.

Планше, который еще не совсем успокоился относительно исхода своей проделки, объявил, что последует за д'Артаньяном на край света, все равно, поедет ли тот прямо или свернет влево. Он упросил только своего барина выехать вечером, так как темнота обеспечивала ему большую безопасность. Д'Артаньян посоветовал ему предупредить жену, чтобы успокоить ее по крайней мере относительно своей участи; но проникательный Планше уверенно ответил, что жена его не умрет от беспокойства, если не будет знать об его местонахождении, тогда как он, Планше, напротив, зная невоздержанность ее языка, непременно умрет от беспокойства, если только она будет знать, где он находится.

Эти доводы оказались д'Артаньяну настолько вескими, что он больше не настаивал, и в восьмом часу вечера, когда туман на улицах начал сгущаться, вышел из гостиницы «Козочка» и в сопровождении Планше выехал из столицы через заставу Сен-Дени.

В полночь оба путешественника были в Даммартене.

Было слишком поздно, чтобы наводить справки. Хозяин постоялого двора «Знак креста» уже спал. Д'Артаньян отложил расспросы до завтра.

Наутро он велел позвать трактирщика. Это был один из тех хитрых нормандцев, которые не говорят ни да, ни нет и полагают, что уронят себя в глазах собеседника, ответив без уверток на заданный вопрос. Поняв только, что нужно ехать прямо, д'Артаньян пустился в путь согласно этому неточному указанию. В девять часов утра он прибыл в Нантейль и остановился там, чтобы позавтракать.

На этот раз трактирщик был откровенный и славный пикардиец. Признав в Планше земляка, он без лишних проволочек дал ему нужные разъяснения. Поместье Брасье находилось в нескольких милях от Вилле-Котре.

Д'Артаньян знал Вилле-Котре, так как два-три раза сопровождал туда двор. Вилле-Котре было в ту пору одной из королевских резиденций. Он направился в этот город и остановился, как бывало, в гостинице «Золотой дельфин».

Тут он получил исчерпывающие сведения. Он узнал, что поместье Брасье было расположено в четырех милях от города, но что Портоса нужно было искать вовсе не там.

Портос действительно вел тяжбу с нуайонским епископом за поместье Пьерфон, граничащее с его землями; утомленный судебной волокитой, в которой он ровно ничего не понимал, он, чтобы покончить с ней, просто купил Пьерфон и таким-то путем к своим двум прежним фамилиям прибавил еще третью. Он именовался теперь дю Валлон де Брасье де Пьерфон и жил в своем новом имении.

За отсутствием другой славы Портос, очевидно, метил в маркизы Карабасы.

Приходилось опять переждать до завтра. Лошади сделали за день десять миль и очень устали. Правда, можно было взять других, но предстояло ехать лесом, а Планше, как нам известно, не любил лесов ночью.

Была и другая вещь, которую не любил Планше, а именно – пускаться в путь натошак: поэтому, проснувшись поутру, д'Артаньян нашел на столе готовый завтрак. Трудно было сердиться на такое внимание, и д'Артаньян сел за стол. Нечего и говорить, что Планше, вернувшись к былым обязанностям, вернул себе прежнее смирение; поэтому доедать остатки со стола д'Артаньяна он стыдился не больше, чем г-жа де Мотвиль или г-жа де Фаржи, доедавшие блюда со стола Анны Австрийской.

Выехать поэтому удалось только около восьми часов утра. Ошибиться было невозможно: следовало ехать по дороге, ведущей из Вилле-Котре в Компьен, и, миновав лес, свернуть направо.

Стояло прекрасное весеннее утро; птицы пели на высоких деревьях, и солнечный свет на лесных прогалинах казался завесой золотистой кисеи.

Кое-где солнечные лучи с трудом пробивались сквозь плотный свод листвы, и во мраке тонули стволы старых дубов, на которые карабкались, завидев путешественников, проворные белки. Вся природа в это раннее утро дышала радующим сердце ароматом травы, цветов и листьев. Д'Артаньян, которому надоел смрад Парижа, находил, что человек, который носит имена трех поместий, нанизанные одно на другое, может быть вполне счастлив в подобном раю. И он подумал, покачав головой: «Будь я на месте Портоса и сделай мне д'Артаньян предложение, которое я собираюсь сделать Портосу, уже понятно, что бы я ответил д'Артаньяну».

А Планше не думал ничего: он переваривал свой завтрак.

На опушке леса д'Артаньян увидел указанную ему дорогу, а в конце дороги башни огромного феодального замка.

– Ого, – проворчал он, – этот замок, кажется, принадлежал старшей ветви рода герцогов Орлеанских. Уж не вошел ли Портос в сделку с герцогом де Лонгвилем?

– Ай да поместье, сударь! Хорошо управляется! – сказал Планше. – И если оно принадлежит господину Портосу, то его можно поздравить.

– Не вздумай только, черт побери, назвать его Портосом, – сказал д'Артаньян, – или даже дю Валлоном. Называй его де Брасье или де Пьерфон. Ты погубишь все наше дело.

По мере приближения к замку, который привлек их внимание, д'Артаньян стал убеждаться, что тут не может жить его друг. Башни, хотя и прочные, как вчера выстроенные, были пробиты и разворочены, точно какой-то великан изрубил их топором.

Доехав до конца дороги, д'Артаньян увидел у своих ног чудесную долину, в глубине которой дремало небольшое прелестное озеро, окруженное разбросанными там и сям домами с соломенными и черепичными крышами; казалось, они почтительно признавали своим сюзереном стоявший тут же красивый замок, построенный в начале царствования Генриха IV и украшенный флюгерами с гербом владельца.

На этот раз д'Артаньян не усомнился, что он перед жилищем Портоса.

Дорога вела прямо к красивому замку, который рядом со своим предком на горе напоминал современного щеголя рядом с закованным в железо рыцарем времен Карла VII. Д'Артаньян пустил лошадь рысью. Планше поторапливал своего скакуна, стараясь не отстать от хозяина.

Через десять минут д'Артаньян въехал в аллею, обсаженную прекрасными тополями и упиравшуюся в железную решетку с позолоченными остриями и перекладинами. Посреди этой аллеи какой-то господин весь в зеленом и раззолоченный, как решетка, сидел верхом на толстом низком жеребце. Справа и слева от него вытянулись два лакея в ливреях с позументами на всех швах; поодаль толпой стояли почтительные крестьяне.

«Уж не владетельный ли это господин дю Валлон де Брасье де Пьерфон? – сказал про себя д'Артаньян. – Бог мой, как он съезился с тех пор, как перестал называться Портосом».

– Это не может быть он, – сказал Планше, отвечая на мысль д'Артаньяна. – В господине Портосе шесть футов росту, а в этом и пяти не наберется.

– Однако этому господину очень низко кланяются.

Сказав это, д'Артаньян двинулся по направлению к жеребцу, лакеям и важному господину. Чем ближе он подъезжал, тем более ему казалось, что он узнает черты его лица.

– Господи Иисусе! – воскликнул Планше, который тоже как будто признал его. – Сударь, неужели это он?

При этом восклицании человек на коне медленно и весьма величаво обернулся, и путешественники увидели во всем блеске круглые глаза, румяную рожу и блаженную улыбку Мушкетона.

И точно, это был Мушкетон, жирный, пышущий здоровьем и довольством. Узнав д'Артаньяна, он – не то что этот лицемер Базен – поспешно слез со своего жеребца и с обнаженной головой пошел навстречу офицеру. И почтительная толпа круто повернулась к новому светилу, затмившему прежнее.

– Господин д'Артаньян! Господин д'Артаньян! – вырвалось из толстых щек Мушкетона, захлебывавшегося от радости. – Господин д'Артаньян! Ах, какая радость для моего господина и хозяина дю Валлона де Брасье де Пьерфона!

– Милейший Мушкетон! Так твой господин здесь?

– Вы в его владениях.

– Но какой же ты нарядный, жирный, цветущий! – продолжал д'Артаньян, без устали перечисляя перемены, происшедшие под влиянием благоденствия в некогда голодном парне.

– Да, да, слава богу, сударь, – ответил Мушкетон, – я чувствую себя недурно.

– Что же ты ничего не скажешь своему другу Планше?

– Планше, друг мой Планше, ты ли это? – вскричал Мушкетон, с распростертыми объятиями и со слезами на глазах бросаясь к Планше.

– Я самый, – ответил благоразумный Планше, – я хотел только проверить, не заважничал ли ты.

– Важничать перед старым другом! Нет, Планше, никогда! Ты этого и сам не думаешь, или плохо ты знаешь Мушкетона.

– Ну и хорошо! – сказал Планше, соскочив с лошади и, в свою очередь, обнимая Мушкетона. – Ты не то что эта каналья Базен, продержавший меня два часа в сарае и даже не подавший вида, что он знаком со мной.

И Планше с Мушкетомом расцеловались с чувством, весьма растрогавшим присутствующих, решивших, ввиду высокого положения Мушкетона, что Планше какой-нибудь переодетый вельможа.

– А теперь, сударь, – сказал Мушкетон, освободившись от объятий Планше, безуспешно пытавшегося сомкнуть руки на спине своего друга, – а теперь, сударь, позвольте мне вас покинуть, так как я не хочу, чтобы мой барин узнал о вашем приезде от кого-либо, кроме меня; он не простит мне, что я допустил опередить себя.

– Старый друг! – сказал д'Артаньян, избегая называть Портоса и старым и новым именем. – Так он еще не забыл меня?

– Забыть? Это ему-то? – воскликнул Мушкетон. – Да не проходило дня, чтобы мы не ожидали известия о вашем назначении маршалом либо вместо господина де Гассиона, либо вместо господина де Бассомпьера.

На губах д'Артаньяна промелькнула одна из тех редких грустных улыбок, что остались в глубине его сердца как след разочарований молодости.

– А вы, мужичье, – продолжал Мушкетон, – оставайтесь при его сиятельстве графе д'Артаньяне и постарайтесь как можно лучше служить ему, пока я съезжу доложить монсеньору о его приезде.

И, взобравшись при помощи двух сердобольных душ на своего дородного коня, в то время как более расторопный Планше вскочил без чужой помощи на своего, Мушкетон поска-

кал по лужайке мелким галопом, свидетельствовавшим более о прочности спины, чем о быстроте ног его скакуна.

– Вот хорошее начало! – сказал д'Артаньян. – Здесь нет ни тайн, ни притворства, ни политики; здесь смеются во все горло, плачут от радости, у всех лица в аршин шириной. Право, мне кажется, что сама природа справляет праздник, что деревья, вместо листьев и цветов, убраны зелеными и розовыми ленточками.

– А мне, – сказал Планше, – кажется, что я отсюда чую восхитительнейший запах жаркого и вижу почетный караул поварят, выстроившихся нам навстречу. Ах, сударь, уж и повар должен быть у господина де Пьерфона: он ведь любил хорошо покушать еще тогда, когда именовался всего-навсего Портосом.

– Стой, – сказал д'Артаньян, – ты меня пугаешь! Если действительность соответствует внешним признакам, я пропал. Такой счастливый человек никогда не отступится от своего счастья, и меня ждет неудача, как у Арамиса.

Глава XIII

Как Д'Артаньян, встретившись с Портосом, убедился, что не в деньгах счастье

Д'Артаньян въехал за решетку и очутился перед замком. Едва он соскочил с лошади, как какой-то великан появился на крыльце. Следует отдать должное д'Артаньяну: независимо от всяких эгоистических соображений, сердце его радостно забило при виде высокой фигуры и воинственного лица, сразу напомнившего ему, какой это храбрый и добрый человек.

Он взбежал на крыльцо и бросился в объятия Портоса; вся челядь, выстроившаяся кружком на почтительном расстоянии, смотрела на них с любопытством. Мушкетон в первом ряду утирал себе глаза. Бедняга не переставал плакать с той минуты, как узнал д'Артаньяна и Планше. Портос взял приятеля за руку.

– Ах, как я рад опять вас видеть, дорогой д'Артаньян! – воскликнул он (теперь вместо баритона он говорил басом). – Вы, значит, меня не забыли.

– Забыть вас? Ах, дорогой дю Валлон, можно ли забыть лучшие дни молодости, и своих верных друзей, и пережитые вместе опасности! Увидя вас, я припомнил каждый миг нашей былой дружбы.

– Да, да, – сказал Портос, подкручивая усы и стараясь придать им прежний щегольской вид, который они утратили за время его затворничества. – Да, славные дела совершали мы в свое время, – было над чем поломать голову бедному кардиналу.

И он тяжело вздохнул. Д'Артаньян взглянул на него.

– Во всяком случае, – продолжал томно Портос, – добро пожаловать, дорогой друг, вы меня развлечете. Мы затравим завтра зайца в моих превосходных полях или косулю в моих великолепных лесах. Мои четыре борзые слывут самыми легкими в наших краях, а гончие у меня такие, что равных им не найти на двадцать миль в округности.

И Портос вздохнул второй раз.

«Ого! – подумал д'Артаньян. – Неужели мой приятель не так счастлив, как кажется?»

– Но прежде всего, – ответил он, – вы представите меня госпоже дю Валлон, потому что я помню любезное приглашение, которое вы мне прислали и в котором она сооблаговолила приписать несколько строк.

Третий вздох Портоса.

– Я потерял госпожу дю Валлон два года тому назад и до сих пор скорблю об этом. Потому-то я и уехал из моего замка Валлон, близ Корбея, и поселился в Брасье, а из-за этого переезда в конце концов прикупил вот это имение. Бедная госпожа дю Валлон! – продолжал Портос, делая унылую мину. – У нее был не очень покладистый характер, но под конец она все же примирилась с моими привычками и вкусами.

– Значит, вы богаты и свободны? – сказал д'Артаньян.

– Увы, – ответил Портос, – я вдовец, и у меня сорок тысяч дохода. Пойдемте завтракать. Хотите?

– И очень, – ответил д'Артаньян. – Утренний воздух возбудил мой аппетит.

– Да, – заметил Портос, – у меня превосходный воздух.

Они вошли в замок. Внутри все сверху донизу сияло позолотой: золоченые карнизы, золоченая резьба, золоченая мебель.

Накрытый стол ожидал их.

– Вот видите, – сказал Портос, – так у меня всегда.

– Черт возьми, я восхищен! Такого стола и у короля не бывает.

– Да, я слышал, что Мазарини его очень скверно кормит. Отведайте котлет, милый д'Артаньян. Из собственной баранины.

– У вас очень нежные бараны, могу вас поздравить.

– Да, они откармливаются на моих превосходных лугах.

– Дайте мне еще.

– Нет, попробуйте лучше зайца. Я убил его вчера в одном из моих заповедников.

– Черт! Как вкусно! Да вы кормите ваших зайцев, верно, одной богородичной травкой!

– А как вам нравится мое вино? Не правда ли, приятное?

– Оно превосходно.

– А тем не менее это местное.

– В самом деле?

– Да, небольшой виноградничек на южном склоне горы: он дает двадцать мюидов.

– Великолепный сбор.

Портос вздохнул в пятый раз. Д'Артаньян считал вздохи Портоса.

– Но послушайте наконец, – сказал он, желая разрешить эту загадку, – можно подумать, друг мой, что вас что-то печалит? Уж не больны ли вы? Разве здоровье...

– Превосходно, мой друг, лучше, чем когда-либо: я убью быка ударом кулака.

– Значит, семейные огорчения?..

– Семейные? К счастью, у меня нет семьи.

– Чем же тогда вызваны ваши вздохи?

– Я буду откровенен с вами, мой друг, – сказал Портос. – Я несчастлив.

– Вы несчастливы, Портос? Вы, владеющий замками, лугами, холмами, лесами, – вы, имеющий, наконец, сорок тысяч ливров дохода, вы несчастливы?

– Дорогой мой, – отвечал Портос, – правда, у меня все есть, но я одинок среди всего этого.

– А, понимаю: вы окружены нищими, знаться с которыми для вас унижительно...

Портос слегка побледнел и осушил огромный стакан вина со своего виноградника.

– Нет, не то, – сказал он, – скорее наоборот. Эти мелкопоместные дворянчики, которые все имеют кой-какие титулы и считают себя потомками Фарамонда, Карла Великого или по меньшей мере Гуго Капета. Так как я был новоприбывший, я должен был первый к ним ехать, вначале я так и делал; но вы знаете, мой милый, госпожа дю Валлон... (здесь Портос словно поперхнулся) госпожа дю Валлон была сомнительная дворянка. Первый раз она была замужем, – мне кажется, д'Артаньян, вам это известно, – застрячим; это, по их мнению, было отвратительно. Они так и выразились: «отвратительно». Вы понимаете, за такое выражение можно убить тридцать тысяч человек. Я убил двоих; это заставило остальных замолчать, но не принесло мне их дружбы. Так что теперь я лишен всякого общества; живу один, скучаю, дохну с тоски.

Д'Артаньян улыбнулся; он знал теперь слабое место и готовил удар.

– Но в конце концов, – сказал он, – вы же сами дворянин и женитьба не отняла у вас дворянства.

– Да, но, понимаете, я не принадлежу к исторической знати, как, например, Куси, довольствовавшиеся титулом «сир», или Роганы, которые не хотели быть герцогами; я вынужден уступать этим людям, которые все графы и виконты; в церкви, на всех церемониях, всюду они пользуются преимуществами передо мною, и я ничего с этим не могу поделать. Ах, если б только я был...

– Барон, не так ли? – окончил д'Артаньян фразу приятеля.

– Ах! – воскликнул Портос, просияв. – Ах, если б я был барон!

«Отлично, – подумал д'Артаньян, – тут успех обеспечен».

– А знаете, дорогой друг, – сказал он Портосу, – этот-то титул, которого вы так желаете, я и привез вам сегодня.

Портос подпрыгнул так, что все кругом затряслось; две-три бутылки, потеряв равновесие, скатились со стола и разбились. Мушкетон прибежал на шум, и в дверях появился Планше с набитым ртом и салфеткой в руках.

– Вы меня звали, монсеньор? – спросил Мушкетон. Портос сделал знак Мушкетону подобрать осколки стекла.

– Я рад видеть, – сказал д'Артаньян, – что этот славный малый по-прежнему при вас.

– Он мой управляющий, – ответил Портос. – Он умеет-таки обдeldывать свои делишки, этот мошенник, сразу видно, – сказал он громко, – но, – прибавил он, понижая голос, – он мне предан и не покинет меня ни за что на свете.

«И притом зовет тебя монсеньором», – подумал д'Артаньян.

– Можете идти, Мустон, – сказал Портос.

– Вы сказали Мустон? Ах да, понимаю, сокращенное имя, Мушкетон – это слишком длинно!

– Да, и к тому же от этого имени за целую милю пахнет казармой. Однако мы говорили о деле, когда вошел этот дуралей.

– Да, – сказал д'Артаньян. – Но отложим разговор до другого времени, а то ваши люди могут что-нибудь пронюхать: быть может, тут есть шпионы. Вы понимаете, Портос, это дело важное.

– Черт побери! – проговорил Портос. – Что ж, пойдемте прогуляться по парку, для пищеварения.

– С удовольствием, – сказал д'Артаньян.

Так как плотный завтрак подошел к концу, они отправились осматривать великолепный сад. Каштановые и липовые аллеи окружали участок по крайней мере десятин в тридцать. В садках, обсаженных частой живой изгородью, резвились кролики, играя в высокой траве.

– Честное слово, – сказал д'Артаньян, – парк у вас так же великолепен, как и все остальное; а если у вас в прудах столько же рыбы, сколько кроликов в садках, то вы должны быть счастливейшим человеком в мире, разве что вы разлюбили охоту и не сумели пристраститься к рыбной ловле.

– Рыбу ловить, мой друг, я предоставляю Мушкетону: это мужицкое удовольствие. Охотой же я иногда занимаюсь, другими словами, когда я скучаю, то сажусь здесь на мраморной скамейке, приказываю подать мне ружье, привести Гредине – это моя любимая охотничья собака – и стреляю кроликов.

– Это очень весело, – сказал д'Артаньян.

– Да, – ответил со вздохом Портос, – это очень весело.

Д'Артаньян уже перестал считать вздохи Портоса.

– Потом, – прибавил Портос, – Гредине их отыскивает и сам относит к повару: он хорошо выдрессирован.

– Какой чудесный пес! – сказал д'Артаньян.

– Но оставим Гредине, – продолжал Портос. – Если хотите, я вам его подарю, он мне уже надоел; вернемтесь теперь к нашему делу.

– Извольте, – сказал д'Артаньян. – Но, дорогой друг, чтобы вы не могли потом упрекнуть меня в вероломстве, я вас предупреждаю, что вам придется совершенно изменить образ жизни.

– Как так?

– Снова надеть боевое снаряжение, подпоясать шпагу, подвергаться опасностям, оставляя подчас в пути куски своей шкуры, – словом, зажить прежнюю жизнь, понимаете?

– Ах, черт возьми! – пробормотал Портос.

– Да, я понимаю, что вы избаловались, милый друг; вы отрастили брюшко, рука утратила прежнюю гибкость, которую, бывало, вы не раз доказывали гвардейцам кардинала.

– Ну, рука-то еще не плоха, клянусь вам, – сказал Портос, показывая свою ручищу, похожую на баранью лопатку.

– Тем лучше.

– Значит, мы будем воевать?

– Ну разумеется.

– А с кем?

– Вы следите за политикой, мой друг?

– Я? И не думаю.

– Словом, вы за кого: за Мазарини или за принцев?

– Я просто ни за кого.

– Иными словами, вы за нас? Тем лучше, Портос, это выгоднее всего. Итак, мой милый, я вам скажу: я приехал от кардинала.

Это слово оказало такое действие на Портоса, как будто был все еще 1640 год и речь шла о настоящем кардинале.

– Ого! Что же угодно от меня его преосвященству?

– Его преосвященство желает, чтоб вы поступили к нему на службу.

– А кто сказал ему обо мне?

– Рошфор. Помните?

– Еще бы, черт возьми! Тот самый, что, бывало, так досаждал нам, по чьей милости нам пришлось столько гонять по проезжим дорогам! Тот, кого вы трижды угостили шпагой, и ему, можно сказать, не зря досталось!

– Но знаете ли вы, что он стал нашим другом? – спросил д'Артаньян.

– Нет, не знал. Он, видно, незлопамятен.

– Вы ошибаетесь, Портос, – возразил д'Артаньян, – это я незлопамятен.

Портос не совсем понял эти слова, но, как мы знаем, он не отличался сообразительностью.

– Так вы говорите, – продолжал он, – что граф Рошфор говорил обо мне кардиналу?

– Да, а затем королева.

– Королева?

– Чтобы внушить нам доверие к нему, она даже дала ему знаменитый алмаз, помните, который я продал господину Дезэссару и который, не знаю каким образом, снова очутился в ее руках.

– Но мне кажется, – заметил Портос со свойственным ему неуклюжим здравомыслием, – она бы лучше сделала, если б возвратила его вам.

– Я тоже так думаю, – ответил д'Артаньян. – Но что поделаешь, у королей и королев бывают иногда странные причуды. А так как в конце концов в их власти богатство и почести и от них исходят деньги и титулы, то и питаешь к ним преданность.

– Да, питаешь к ним преданность... – повторил Портос. – Значит, в настоящую минуту вы преданы?..

– Королю, королеве и кардиналу. Более того, я поручился и за вас.

– И вы говорите, что заключили некоторые условия относительно меня?

– Блестящие, мой дорогой, блестящие. Прежде всего у вас есть деньги, не так ли? Сорок тысяч ливров дохода, сказали вы?

Портос вдруг встревожился.

– Ну, милый мой, – сказал он, – лишних денег ни у кого не бывает. Наследство госпожи дю Валлон несколько запутано, а я не мастер вести тяжбы, так что и сам перебиваюсь, как могу.

«Он боится, что я приехал просить у него взаймы», – подумал д'Артаньян.

– Ах, мой друг, – сказал он громко, – тем лучше, если у вас заминка в делах.

– Почему: тем лучше? – спросил Портос.

– Да потому, что его преосвященство даст вам все земли, деньги, титулы.

– А-а-а! – протянул Портос, вытаращив глаза при последнем слове д'Артаньяна.

– При прежнем кардинале, – продолжал д'Артаньян, – мы не умели пользоваться случаем, а ведь была возможность. Я говорю не о вас: у вас сорок тысяч дохода, и вы, по-моему, счастливейший человек на свете...

Портос вздохнул.

– Но тем не менее, – продолжал д'Артаньян, – несмотря на ваши сорок тысяч ливров дохода, а может быть, именно в силу этих сорока тысяч ливров, мне кажется, что маленькая коронка на дверцах вашей кареты выглядела бы очень недурно, а?

– Ну разумеется.

– Так вот, друг мой, заслужите ее: она на конце вашей шпаги. Мы не повредим друг другу. Ваша цель – титул, моя – деньги... Мне бы только заработать достаточно, чтобы восстановить Артаньян, пришедший в упадок с тех пор, как мои предки разорились на крестовых походах, да прикупить по соседству акров тридцать земли, – больше мне не нужно. Я поселюсь там и спокойно умру.

– А я, – сказал Портос, – хотел бы быть бароном.

– Вы им будете.

– А о других наших друзьях вы тоже вспомнили? – спросил Портос.

– Конечно. Я виделся с Арамисом.

– А ему чего хочется? Быть епископом?

– Представьте себе, – ответил д'Артаньян, не желавший разочаровывать Портоса, – что Арамис стал монахом и иезуитом и живет как медведь; он отрекся от всего земного и помышляет только о спасении души. Мои предложения не могли поколебать его.

– Тем хуже! – сказал Портос. – Он был человек с головой. А Атос?

– Я еще не виделся с ним, но поеду к нему от вас. Не знаете ли, где его искать?

– Близ Блуа, в маленьком имении, которое он унаследовал от какого-то родственника.

– А как оно называется?

– Бражелон. Представьте себе, друг мой, Атос, который и так родовит, как император, вдруг еще наследует землю, дающую право на графский титул! Ну на что ему эти графства? Графство де Ла Фер, графство де Бражелон!

– Тем более что у него нет детей, – сказал д'Артаньян.

– Гм, я слышал, что он усыновил одного молодого человека, который очень похож на него лицом.

– Атос, наш Атос, который был добродетелен, как Сципион! Вы с ним виделись?

– Нет.

– Ну, так я завтра же повидаюсь с ним и расскажу о вас. Боюсь только, – но это между нами, – что из-за своей несчастной слабости к вину он состарился и опустился.

– Да, правда, он много пил.

– К тому же он старше нас всех, – заметил д'Артаньян.

– Всего несколькими годами; важная осанка очень его старила.

– Да, это верно. Итак, если Атос будет с нами – великолепно; ну а если не будет, мы и без него обойдемся. Мы и вдвоем стоим целой дюжины.

– Да, – сказал Портос, улыбаясь при воспоминании о своих былых подвигах, – но вчетвером мы стоили бы тридцати шести; тем более что дело будет не из легких, судя по вашим словам.

– Не легкое для новичка, но не для нас.

– А сколько оно продлится?

– Пожалуй, хватит года на три, на четыре, черт возьми!

– Драться будем много?

– Надеюсь.

– Тем лучше в конце концов, тем лучше! – восклицал Портос. – Вы представить себе не можете, как мне с той поры, что я сижу здесь, хочется размять кости! Иной раз, в воскресенье, после церкви, я скачу на коне по полям и лугам моих соседей в чаянии какой-нибудь доброй стычки, так как чувствую, что она мне необходима; но ничего не случается, мой милый. То ли меня уважают, то ли боятся, что более вероятно. Мне позволяют вытаптывать с собаками поля люцерны, позволяют над всеми издеваться, и я возвращаюсь, скучая еще больше, вот и все. Скажите мне по крайней мере: теперь в Париже уже не так преследуют за поединки?

– Ну, мой милый, тут все обстоит прекрасно. Нет никаких эдиктов, ни кардинальской гвардии, ни Жюссака и ему подобных сыщиков, ничего. Под любым фонарем, в трактире, где угодно: «Вы фрондер?» – вынимаешь шпагу, и готово. Гиз убил Колиньи посреди Королевской площади, и ничего – сошло.

– Вот это славно! – сказал Портос.

– А затем, в скором времени, – продолжал д'Артаньян, – у нас будут битвы по всем правилам, с пушками, с пожарами, – все, что душе угодно.

– Тогда я согласен.

– Даете мне слово?

– Да, решено! Я буду колотить за Мазарини направо и налево. Но...

– Что «но»?

– Пусть он сделает меня бароном.

– Э, черт возьми! Да это уж решено заранее. Я вам сказал и повторяю, что ручаюсь за ваше баронство.

Получив это обещание, Портос, который никогда не сомневался в слове своего друга, повернул с ним обратно в замок.

Глава XIV

Показывающая, что если Портос был недоволен своей участью, то Мушкетон был совершенно удовлетворен своею

На обратном пути к замку Портос был погружен в мечты о своем будущем баронстве, а д'Артаньян размышлял о жалкой природе человека, всегда недовольного тем, что у него есть, и постоянно стремящегося к тому, чего у него нет. Д'Артаньян, будь он на месте Портоса, считал бы себя счастливейшим человеком на свете. А чего недоставало для счастья Портосу? Пяти букв, которые он имел бы право писать впереди всех своих имен и фамилий, да еще коронки, нарисованной на дверцах кареты.

«Видно, суждено мне, – подумал д'Артаньян, – всю жизнь глядеть направо и налево и так и не увидеть ни разу вполне счастливого лица».

Но не успел он сделать этот философский вывод, как судьба словно захотела опровергнуть его. Едва расставшись с Портосом, ушедшим отдать кой-какие приказания своему повару, д'Артаньян заметил, что к нему приближается Мушкетон. Лицо доброго малого, если не считать легкого волнения, которое, подобно летнему облачку, не столько омрачало его, сколько чуть-чуть затуманивало, казалось лицом вполне счастливого человека.

«Вот то, чего я искал, – подумал д'Артаньян. – Но увы, бедняга не знает, зачем я приехал».

Мушкетон остановился на приличном расстоянии. Д'Артаньян сел на скамью и знаком подозвал его к себе.

– Сударь, – сказал Мушкетон, воспользовавшись позволением, – я хочу вас попросить об одной милости.

– Говори, мой друг, – сказал д'Артаньян.

– Я не смею, я боюсь, как бы вы не подумали, что благоденствие испортило меня.

– Значит, ты счастлив, мой друг? – спросил д'Артаньян.

– Так счастлив, как только возможно, и все же в ваших силах сделать меня еще счастливее.

– Что ж! Говори. Если дело зависит только от меня, то считай, что оно уже сделано.

– О, сударь, оно зависит только от вас!

– Я жду.

– Сударь, милость, о которой я вас прошу, заключается в том, чтоб вы называли меня не Мушкетоном, а Мустоном. С тех пор как я имею честь состоять управляющим его милости, я ношу это имя, как более достойное и внушающее почтение моим подчиненным. Вы сами знаете, сударь, как необходима субординация для челяди.

Д'Артаньян улыбнулся: Портос удлинял свою фамилию, Мушкетон укорачивал свою.

– Так как же, сударь? – спросил, трепеща, Мушкетон.

– Ну конечно, мой милый Мустон, конечно, – ответил д'Артаньян. – Будь покоен, я не забуду твоей просьбы и, если тебе угодно, даже не буду впредь говорить тебе «ты».

– О! – воскликнул, покраснев от радости, Мушкетон. – Если вы окажете мне такую честь, сударь, я буду вам признателен всю жизнь. Но может быть, я прошу уж слишком многого?

«Увы, – подумал д'Артаньян. – Это совсем мало по сравнению с теми неожиданными напастьми, которые я навлек на беднягу, встретившего меня так сердечно!»

– А вы долго пробудете у нас, сударь? – спросил Мушкетон.

Лицо его, обрета прежнюю безмятежность, расцвело опять, как пион.

– Я уезжаю завтра, мой друг, – ответил д'Артаньян.

– Ах, сударь, неужели вы приехали только для того, чтобы огорчить нас?

– Боюсь, что так, – произнес д'Артаньян совсем тихо, и отступавший с низкими поклонами Мушкетон его не расслышал.

Раскаяние терзало д'Артаньяна, несмотря на то что сердце его изрядно очерствело.

Он не сожалел о том, что увлек Портоса на путь, опасный для его жизни и благополучия, ибо Портос охотно рискнул бы всем этим ради баронского титула, о котором мечтал пятнадцать лет; но Мушкетон-то желал только одного: чтобы его звали Мустоном; так не жестоко ли было отрывать его от блаженной и сытой жизни? Д'Артаньян раздумывал об этом, когда вернулся Портос.

– За стол, – сказал Портос.

– Как за стол? – спросил д'Артаньян. – Который же теперь час?

– Уже второй, мой милый.

– Ваше обиталище, Портос, просто рай: здесь забываешь о времени. Я следую за вами, хоть я и не голоден.

– Идем, идем. Если не всегда можно есть, то пить всегда можно; это один из принципов бедняги Атоса, и в его правоте я убедился с тех пор, как начал скучать.

Д'Артаньян, который, как истый гасконец, был по натуре весьма умерен, по-видимому, не очень верил в правильность аксиомы Атоса; все-таки он старался по мере сил не отставать от хозяина дома.

Однако, глядя, как ест Портос, и сам усердно прихлебывая вино, д'Артаньян не мог отделаться от мысли о Мушкетоне, тем более что Мушкетон, не прислуживая сам за столом, что при нынешнем положении было бы ниже его достоинства, то и дело появлялся у дверей и выказывал свою благодарность д'Артаньяну, посылая им вина самые лучшие и самые выдержанные.

Поэтому, когда за десертом Портос по знаку д'Артаньяна отпустил лакеев и друзья остались вдвоем, д'Артаньян обратился к Портосу:

– А кто же будет вас сопровождать в поход, Портос?

– Конечно же, Мустон, – ответил спокойно Портос. Д'Артаньян был поражен. Ему уже представилось, как переходит в скорбную гримасу радушная улыбка управителя.

– А ведь Мустон, – сказал д'Артаньян, – уже не первой молодости, мой милый; к тому же он разжирел и, может быть, утратил навык к боевой службе.

– Я знаю, но я привык к нему. Да, впрочем, он и сам не захочет покинуть меня: он слишком меня любит.

«О, слепое самолюбие!» – подумал д'Артаньян.

– Но ведь и у вас самого, кажется, служит все тот же лакей: этот добрый, храбрый, сметливый... как бишь его зовут?

– Планше. Да, он снова у меня, но теперь он больше не лакей.

– А кто же?

– На свои тысячу шестьсот ливров, – помните, те деньги, которые он заработал при осаде Ла-Рошели, доставив письмо лорду Винтеру, – он открыл лавочку на улице Менял и стал кондитером.

– Так он кондитер на улице Менял? Зачем же он у вас служит?

– Он немножко напроказил и боится неприятностей.

И мушкетер рассказал своему другу, как он встретил Планше.

– Да, милый мой, – сказал Портос, – что, если б кто-нибудь сказал вам в былое время, что Планше спасет Рошфора, а вы потом укроете его от преследования?

– Я не поверил бы. Но что поделаешь? События меняют человека.

– Совершенно верно, – согласился Портос, – но что не меняется или, вернее, что меняется к лучшему – это вино. Отведайте-ка испанское, которое так ценил наш друг Атос: это херес.

В эту минуту управитель вошел за приказаниями относительно завтрашнего меню, а также предполагаемой охоты.

– Скажи-ка, Мустон, – спросил Портос, – мое оружие в порядке?

Д'Артаньян забарабанил по столу пальцами, чтобы скрыть свое смущение.

– Ваше оружие, монсеньор? – спросил Мушкетон. – Какое оружие?

– Да мои доспехи, черт возьми!

– Какие доспехи?

– Боевые доспехи.

– Да, монсеньор, – я так думаю по крайней мере.

– Осмотри их завтра и, если понадобится, вели почистить. Какая лошадь у меня самая резвая?

– Вулкан.

– А самая выносливая?

– Баярд.

– А ты какую больше всего любишь?

– Я люблю Рюсто, монсеньор, это славная лошадка, мы с ней прекрасно ладим.

– Она вынослива, не правда ли?

– Помесь нормандской породы с мекленбургской. Может бежать день и ночь без передышки.

– Как раз то, что нам нужно. Ты пригостишь к походу этих трех лошадей и вычистишь или велишь вычистить мое оружие; да пистолеты для себя и охотничий нож.

– Значит, мы отправляемся путешествовать? – тревожно спросил Мушкетон.

Д'Артаньян, выстукивавший до сих пор неопределенные аккорды, забарабанил марш.

– Получше того, Мустон! – ответил Портос.

– Мы едем в поход, сударь? – спросил управитель, и розы на его лице сменились лилиями.

– Мы опять поступаем на военную службу, Мустон! – ответил Портос, стараясь лихо закрутить усы и придать им воинственный вид, от которого они давно отвыкли.

Едва раздалась эти слова, как Мушкетон затрепетал; его толстые, с красноватыми прожилками, щеки дрожали. Он взглянул на д'Артаньяна с таким невыразимо грустным упреком, что офицер не мог вынести этого без волнения. Потом он пошатнулся и сдавленным голосом спросил:

– На службу? На службу в королевской армии?

– И да и нет. Мы будем опять сражаться, искать всяких приключений – словом, будем вести прежнюю жизнь.

Последние слова как громом поразили Мушкетона. Именно эта самая ужасная «прежняя жизнь» и делала «теперешнюю» столь приятной.

– О господи! Что я слышу? – воскликнул Мушкетон, бросая еще более умоляющий взгляд на д'Артаньяна.

– Что делать, мой милый Мустон! – сказал д'Артаньян. – Значит, судьба...

Несмотря на то что д'Артаньян постарался не назвать его на «ты» и выговорил его имя так, как хотелось Мушкетону, тот все же почувствовал удар, и удар был столь ужасен, что он вышел, забыв от волнения затворить двери.

– Славный Мушкетон! Он сам не свой от радости, – сказал Портос тоном, которым Дон Кихот, вероятно, поощрял Санчо седлать своего Серого для последнего похода.

Оставшись одни, друзья заговорили о будущем и принялись строить воздушные замки. От славного винца Мушкетона д'Артаньяну уже мерещились груды сверкающих червонцев и пистолей, а Портосу – голубая лента и герцогская мантия. Во всяком случае, они оба дремали за столом, когда слуги пришли, чтобы пригласить их лечь в постель.

На следующее утро, однако, д'Артаньян несколько утешил Мушкетона, объявив ему, что война, по всей вероятности, будет все время вестись в самом Париже и поблизости от замка Валлон, расположенного в окрестностях Корбея, или же около Брасье, лежащего близ Мелена, а также возле Пьерфона, находящегося между Компьенем и Вилле-Котре.

– Но мне кажется, что прежде... – робко начал Мушкетон.

– О! – сказал д'Артаньян. – Нынче война ведется не так, как прежде. Теперь все дело в дипломатии: спросите об этом Планше.

Мушкетон пошел наводить справки у своего старого друга, который подтвердил ему все, что сказал д'Артаньян.

– Только, – прибавил он, – в этой войне пленников подчас вешают.

– Черт возьми, – сказал Мушкетон, – кажется, я все же предпочел бы осаду Ла-Рошели.

А Портос предоставил своему гостю случай убить на охоте косулю, обошел с ним и свои леса, и свои горы, и свои пруды, показал ему своих борзых, свою свору гончих, Гредине – одним словом, все, чем он владел, наконец трижды угостил д'Артаньяна как нельзя более пышно и, когда тот стал собираться в путь, потребовал у него точных распоряжений.

– Сделаем так, мой друг, – сказал ему посланец Мазарини. – Мне нужно четыре дня, чтобы доехать отсюда до Блуа; день провести там; три или четыре – на возвращение в Париж. Выезжайте отсюда через неделю со всем необходимым; остановитесь на Тиктонской улице, в гостинице «Козочка», и ждите моего возвращения.

– Решено, – сказал Портос.

– Я еду к Атосу без всякой надежды на успех. Но хоть я и думаю, что он никуда не годится, все же нужно соблюдать приличия в отношении друзей.

– Не поехать ли и мне с вами? – сказал Портос. – Это меня несколько развлечет.

– Возможно, меня тоже. Но вы не успеете сделать нужные приготовления.

– Правда. Поезжайте, желаю вам успеха. Мне не терпится приняться за дело.

– Отлично! – сказал д'Артаньян.

И они расстались на рубеже пьерфонских владений, до которого Портос пожелал проводить своего друга.

– По крайней мере, – сказал д'Артаньян, скача по дороге на Вилле-Котре, – я буду не один. Этот молодчина Портос еще исполнен сил. Если Атос согласится, отлично. Мы тогда втроем посмеемся над Арамисом, этим повесой в рясе.

Из Вилле-Котре он написал кардиналу:

«Монсеньор, одного я уже могу предложить вашему преосвященству, а этот один стоит двадцати. Я еду в Блуа, так как граф де Ла Фер живет в замке Бражелон в окрестностях этого города».

Затем он поскакал по дороге в Блуа, болтая с Планше, весьма развлекавшим его в продолжение долгого путешествия.

Глава XV

Два ангелочка

Дорога предстояла долгая, но д'Артаньяна это ничуть не тревожило: он знал, что его лошади хорошо отдохнули у полных яслей владельца замка Брасье. Он спокойно пустился в четырехдневный или пятидневный путь, который ему предстояло проделать в сопровождении верного Планше.

Как мы уже говорили, оба спутника, чтоб убить дорожную скуку, все время ехали рядом, переговариваясь друг с другом. Д'Артаньян мало-помалу перестал держать себя барином, а Планше понемногу сбросил личину лакея. Этот тонкий плут, превратившись в торговца, не раз с сожалением вспоминал былые пирушки в пути, а также беседы и блестящее общество дворян. И, сознавая за собой известные достоинства, считал, что унижает себя постоянным общением с грубыми людьми.

Вскоре он снова стал поверенным того, кого продолжал еще называть своим барином. Д'Артаньян много лет уже не открывал никому своего сердца. Вышло так, что эти люди, встретившись снова, отлично поладили между собой.

Да и вправду сказать, Планше был неплохим спутником в приключениях. Он был человек сметливый; не ища особенно опасностей, он не отступал в бою, в чем д'Артаньян не раз имел случай убедиться. Наконец, он был в свое время солдатом, а оружие облагораживает. Но главное было в том, что если Планше нуждался в д'Артаньяне, то и сам был ему весьма полезен. Так что они прибыли в Блуа почти друзьями.

В пути, постоянно возвращаясь к занимавшей его мысли, д'Артаньян говорил, качая головой:

– Я знаю, что мое обращение к Атосу бесполезно и нелепо, но я обязан оказать это внимание моему другу, имевшему все задатки человека благородного и великодушного.

– Что и говорить! Господин Атос был истинный дворянин! – сказал Планше.

– Не правда ли? – подхватил д'Артаньян.

– У него деньги сыпались, как град с неба, – продолжал Планше, – и шпагу он обнажал, словно король. Помните, сударь, дуэль с англичанами возле монастыря кармелиток? Ах, как хорош и великолепен был в тот день господин Атос, заявивший своему противнику: «Вы потребовали, чтобы я назвал вам свое имя, сударь? Тем хуже для вас, так как теперь мне придется вас убить!» Я стоял около него и слышал все слово в слово. А его взгляд, сударь, когда он пронзил своего противника, как заранее предсказал, и тот упал, не успев и охнуть! Ах, сударь, еще раз скажу: это был истинный дворянин!

– Да, – сказал д'Артаньян, – это чистейшая правда, но один недостаток погубил все его достоинства.

– Да, помню, – сказал Планше, – он любил выпить, или, скажем прямо, изрядно пил. Только и пил он не как другие. Его глаза ничего не выражали, когда он подносил стакан к губам. Право, никогда молчание не бывало так красноречиво. Мне так и казалось, что я слышу, как он бормочет: «Лейся, влага, и прогони мою печаль!» А как он отбивал ножки у рюмок или горлышки у бутылок! В этом с ним никто бы не мог потягаться.

– Какое грустное зрелище нас ждет сегодня! – продолжал д'Артаньян. – Благородный дворянин с гордой осанкой, прекрасный боец, так блестяще проявлявший себя на войне, что все дивились, почему он держит в руке простую шпагу, а не маршальский жезл, явится нам согбенным стариком с красным носом и слезящимися глазами. Мы найдем его где-нибудь на лужайке в саду; он взглянет на нас мутными глазами и, может быть, даже не узнает нас. Бог свидетель, Планше, я охотно избежал бы этого грустного зрелища, – продолжал д'Артаньян, –

если бы не хотел доказать свое уважение славной тени доблестного графа де Ла Фер, которого мы так любим.

Планше молча кивнул головой; видно было, что он разделяет все опасения своего господина.

– Вдобавок ко всему, – продолжал д'Артаньян, – дряхлость, ведь Атос теперь уже стар. Может быть, и бедность, потому что он не берег того немногого, что имел. И засаленный Гримо, еще более молчаливый, чем раньше, и еще более горький пьяница, чем его хозяин... Ах, Планше, все это разрывает мне сердце!

– Мне кажется, что я уже так и вижу, как он пошатывается, едва ворочая языком, – с состраданием сказал Планше.

– Признаюсь, я побаиваюсь, как бы Атос, охваченный под пьяную руку воинственным пылом, не принял бы мое предложение. Это будет для нас с Портосом большим несчастьем, а главное, просто помехой; но мы его бросим после первой же попойки, вот и все. Он проспится и поймет.

– Во всяком случае, сударь, – сказал Планше, – скоро все выяснится. Мне кажется, вон те высокие стены, красные от лучей заходящего солнца, это уже Блуа.

– Возможно, – ответил д'Артаньян, – а эти островерхие, резные колоколенки, что виднеются там в лесу налево, напоминают, по рассказам, Шамбор.

– Мы въедем в город?

– Разумеется, чтоб навести справки.

– Советую вам, сударь, если мы будем в городе, отведать там сливок в маленьких горшочках: их очень хвалят; к сожалению, в Париж их возить нельзя, и приходится пить только на месте.

– Ну так мы их отведаем, будь спокоен, – отвечал д'Артаньян.

В эту минуту тяжелый, запряженный волами воз, на каких обычно возят к пристаням на Луаре срубленные в тамошних великолепных лесах деревья, выехал с изрезанного колеями проселка на большую дорогу, по которой скакали наши всадники. Воз сопровождал человек, державший в руках длинную жердь с гвоздем на конце, этой жердью он подбадривал своих медлительных животных.

– Эй, приятель! – окликнул Планше погонщика.

– Что угодно вашей милости? – спросил крестьянин на чистом и правильном языке, свойственном жителям этой местности и способном пристыдить парижских блюстителей грамматики с Сорбоннской площади и Университетской улицы.

– Мы разыскиваем дом графа де Ла Фер, – сказал д'Артаньян. – Приходилось вам слышать это имя среди имен окрестных владельцев?

Услыша эту фамилию, крестьянин снял шляпу.

– Бревна, что я везу, ваша милость, – ответил он, – принадлежат ему. Я вырубил их в его роще и везу в его замок.

Д'Артаньян не желал спрашивать этого человека. Ему было бы неприятно услышать от постороннего то, о чем он говорил Планше.

«Замок! – повторил про себя д'Артаньян. – Замок! А, понимаю. Атос шутить не любит; наверно, он, как Портос, заставил крестьян величать себя монсеньором, а свой домишко – замком. У милейшего Атоса рука всегда была тяжелая, в особенности когда он выпьет».

Волы шли медленно. Д'Артаньян и Планше ехали позади воза. Наконец такой аллюр им наскучил.

– Так, значит, эта дорога ведет в замок, – спросил д'Артаньян погонщика, – и мы можем ехать по ней без риска заблудиться?

– Конечно, сударь, конечно, – отвечал тот, – можете ехать прямо, вместо того чтоб скушать, плетясь за такими медлительными животными. Не проедете и получили, как увидите

справа от себя замок; отсюда не видно: тополя его скрывают. Этот замок еще не Бражелон, а Лавальер. Поезжайте дальше. В трех мушкетных выстрелах оттуда будет большой белый дом с черепичной крышей, построенный на холме под огромными кленами, – это и есть замок графа де Ла Фер.

– А как длинна эта полумиля? – спросил д'Артаньян. – В нашей прекрасной Франции бывают разные мили.

– Десять минут хода для проворных ног вашей лошади, сударь.

Д'Артаньян поблагодарил погонщика и дал шпоры коню. Потом, невольно взволнованный при мысли, что снова увидит этого странного человека, который его так любил, который так помог своим словом и примером воспитанию в нем дворянина, он мало-помалу стал сдерживать лошадь и продолжал путь шагом, опустив в раздумье голову.

Встреча с крестьянином и его поведение дали и Планше повод к серьезным размышлениям. Никогда еще, ни в Нормандии, ни во Франш-Конте, ни в Артуа, ни в Пикардии – областях, где он больше всего жила, – не встречал он у крестьян такой простоты в обращении, такой степенности, такой чистоты языка. Он готов был думать, что встретил какого-нибудь дворянина, фрондера, как и он, который по политическим причинам был вынужден, тоже как он, переменить обличье.

Возчик сказал правду: вскоре за поворотом дороги глазам путников предстал замок Лавальер; а вдали, на расстоянии примерно с четверть мили, в зеленой рамке громадных кленов, на фоне густых деревьев, которые весна запустила снегом цветов, выделялся белый дом. Увидев все это, д'Артаньян, которого нелегко было растрогать, ощутил в сердце своем странный трепет: такую власть имеют над нами в течение всей нашей жизни впечатления молодости.

Планше, не имевший поводов так волноваться и удивленный возбуждением своего барина, поглядывал то на д'Артаньяна, то на дом.

Мушкетер проехал еще несколько шагов и очутился перед решеткой, сделанной с большим вкусом, который отличает металлические изделия того времени.

За решеткой виднелись отличные огороды и довольно просторный двор, где лакеи в разнообразных ливреях держали под уздцы горячих верховых лошадей и стояла карета, запряженная парой лошадей местной породы.

– Мы сбились с дороги, или тот человек обманул нас, – сказал д'Артаньян. – Не может быть, чтобы здесь жил Атос. Боже мой, неужели он умер и это имение перешло к какому-нибудь из его родственников! Сойди с лошади, Планше, и пойди разузнай. Признаюсь, у меня не хватает храбрости.

Планше соскочил с лошади.

– Ты скажешь, – продолжал д'Артаньян, – что один дворянин, находящийся здесь проездом, желает засвидетельствовать свое почтение графу де Ла Фер, и если ответ будет благоприятный, тогда можешь назвать мою фамилию.

Планше, ведя лошадь под уздцы, подошел к воротам и позвонил. На звонок тотчас же вышел седой лакей, несмотря на свой возраст, державшийся вполне прямо.

– Здесь живет граф де Ла Фер? – спросил Планше.

– Да, здесь, сударь, – ответил слуга, так как Планше не был одет в ливрею.

– Отставной военный, не так ли?

– Совершенно верно.

– У которого был лакей по имени Гримо? – расспрашивал Планше, с обычной своей осторожностью считавший, что лишняя справка не помешает.

– Господин Гримо сейчас в отъезде, – ответил лакей, не привыкший к подобным допросам и начинавший уже оглядывать Планше с головы до ног.

– В таком случае, – сказал радостно Планше, – я вижу, что это тот самый граф де Ла Фер, которого мы ищем. Откройте мне, пожалуйста, я хотел бы доложить графу, что мой господин, его друг, приехал сюда и желает его видеть.

– Что же вы раньше этого не сказали? – ответил лакей, отворяя ворота. – Но где же ваш господин?

– Он едет за мной.

Лакей отворил ворота и пропустил Планше. Тот сделал знак д'Артаньяну, который въехал во двор, испытывая небывалое волнение.

Взойдя на крыльцо, Планше услышал, как кто-то говорил в нижней зале:

– Где же этот дворянин? Отчего вы не проведете его сюда?

Этот голос, донесшийся до д'Артаньяна, пробудил в его сердце тысячу ощущений, тысячу забытых воспоминаний. Он поспешно соскочил с лошади, между тем как Планше, с улыбкой на губах, уже подходил к хозяину дома.

– Да ведь я знаю этого молодца! – сказал Атос, появляясь на пороге.

– О да, господин граф, вы меня знаете, и я также вас хорошо знаю. Я Планше, господин граф. Планше, помните ли...

Но тут честный слуга запнулся, пораженный наружностью Атоса.

– Что? Планше? – вскричал Атос. – Неужели д'Артаньян здесь?

– Я здесь, мой друг! Я здесь, дорогой Атос! – пробормотал, чуть не шатаясь, д'Артаньян.

Теперь и прекрасное, спокойное лицо Атоса изобразило сильное волнение. Не спуская глаз с д'Артаньяна, он сделал два быстрых шага к нему навстречу и нежно обнял его. Д'Артаньян, оправившись от смущения, в свою очередь, сердечно, со слезами на глазах, обнял друга.

Тогда Атос, взяв его за руку и крепко сжимая ее в своей, ввел д'Артаньяна в гостиную, где находилось несколько гостей. Все встали.

– Позвольте вам представить, господа, – сказал Атос, – шевалье д'Артаньяна, лейтенанта мушкетеров его величества, моего искреннего друга и одного из храбрейших и благороднейших дворян, каких я знаю.

Д'Артаньян, как водится, выслушал приветствия присутствующих, ответил на них, как умел, и присоединился к обществу, а когда прерванный на минуту разговор возобновился, принялся рассматривать Атоса.

Странное дело! Атос почти не постарел. Его прекрасные глаза, без темных кругов от бессонницы и пьянства, казалось, стали еще больше и еще яснее, чем прежде. Его овальное лицо, утратив нервную подвижность, стало величавее. Прекрасные и по-прежнему мускулистые, хотя и тонкие руки, в пышных кружевных манжетах, сверкали белизной, как руки на картинах Тициана и Ван-Дейка. Он стал стройнее, чем прежде; его широкие, хорошо развитые плечи говорили о необыкновенной силе. Длинные черные волосы с чуть пробивающейся седой, волнистые от природы, красиво падали на плечи. Голос был по-прежнему свеж, словно Атосу было все еще двадцать пять лет. Безупречно сохранившиеся прекрасные белые зубы придавали невыразимую прелесть улыбке.

Между тем гости, почувствовав по чуть приметной холодности разговора, что друзья сгорают желанием остаться наедине, стали с изысканной вежливостью того времени один за другим подниматься – прощание с хозяином всегда было важным делом у людей высшего общества. Но тут со двора послышался громкий лай собак, и несколько человек в один голос воскликнули:

– Вот и Рауль вернулся!

При имени Рауля Атос взглянул на д'Артаньяна, как бы желая подметить любопытство, которое должно было возбудить в том это новое имя. Но д'Артаньян был так поражен всем виденным, что ничего еще толком не понимал; поэтому он довольно безразлично обернулся,

когда в гостиную вошел красивый юноша лет пятнадцати, просто, но со вкусом одетый, и изящно поклонился, сняв шляпу с длинными красными перьями.

Тем не менее приход этого нового, совершенно неожиданного лица поразил д'Артаньяна. Множество мыслей зародилось у него в уме, подсказывая ему объяснение перемены в Атосе, казавшейся ему до сих пор необъяснимой. Поразительное сходство Атоса с молодым человеком проливало свет на тайну его перерождения. Д'Артаньян стал выжидать, присматриваясь и прислушиваясь.

– Вы уже вернулись, Рауль? – сказал граф.

– Да, сударь, – почтительно ответил молодой человек, – я исполнил ваше поручение.

– Но что с вами, Рауль? – заботливо спросил Атос. – Вы бледны и как будто взволнованны.

– Это потому, что с нашей маленькой соседкой случилось несчастье.

– С мадемуазель Лавальер? – живо спросил Атос.

– Что такое? – раздалось несколько голосов.

– Она гуляла со своей Марселиной в лесу, где дровосеки обтесывают бревна; я увидел ее, проезжая мимо, и остановился. Она тоже меня увидела, хотела спрыгнуть ко мне с кучи бревен, на которую взобралась, но оступилась, бедняжка, упала и не могла подняться. Мне кажется, она вывихнула себе ногу.

– О боже мой! – воскликнул Атос. – А госпожа де Сен-Реми, ее мать, знает об этом?

– Нет, госпожа де Сен-Реми в Блуа, у герцогини Орлеанской. Я побоялся, что девочке недостаточно хорошо оказали первую помощь, и прискакал спросить вашего совета.

– Пошлите кого-нибудь в Блуа, Рауль! Или лучше садитесь на коня и скачите туда сами.

Рауль поклонился.

– А где Луиза? – продолжал граф.

– Я доставил ее сюда, граф, и положил у жены Шарло, которая покамест заставляет ее держать ногу в воде со льдом.

Это известие послужило гостям предлогом для ухода. Они поднялись и стали прощаться с Атосом. Один только старый герцог де Барбье, двадцать лет бывший в дружбе с семьей Лавальер, пошел навестить маленькую Луизу, которая заливалась слезами; но, увидев Рауля, она отверла свои прелестные глазки и сейчас же улыбнулась.

Герцог предложил отвезти ее в Блуа в своей карете.

– Вы правы, сударь, – согласился Атос, – ей лучше поскорее ехать к матери; но я уверен, Рауль, что во всем повинно ваше безрассудство.

– Нет, сударь, клянусь вам! – воскликнула девочка, между тем как юноша побледнел от мысли, что, быть может, он виновник такой беды.

– Уверяю вас, сударь... – пролепетал Рауль.

– Тем не менее вы отправитесь в Блуа, – добродушно продолжал граф, – и попросите у госпожи де Сен-Реми прощения и себе и мне, а потом вернетесь обратно.

Румянец снова выступил на щеках юноши. Он спросил взглядом разрешения у Атоса, приподнял уже юношески сильными руками заплаканную и улыбающуюся девочку, которая прижалась к его плечу своей головкой, и осторожно посадил ее в карету; затем он вскочил на лошадь с ловкостью и проворством опытного наездника и, поклонившись Атосу и д'Артаньяну, поскакал рядом с каретой, не отрывая глаз от ее окна.

Глава XVI

Замок Бражелон

Д'Артаньян глядел на эту сцену, вытаращив глаза и чуть не разинув рот: все это было так не похоже на то, чего он ожидал, что он не мог прийти в себя от изумления.

Атос взял его под руку и увел в сад.

– Пока нам готовят ужин, вы мне позволите, не правда ли, друг мой, – сказал он, улыбаясь, – несколько разъяснить загадку, над которой вы ломаете себе голову?

– Разумеется, господин граф, – сказал д'Артаньян, вновь почувствовав то огромное превосходство, которое Атос всегда имел над ним.

Атос поглядел на него с добродушной улыбкой.

– Прежде всего, мой милый д'Артаньян, – сказал Атос, – здесь нет графа. Если я назвал вас шевалье, то для того лишь, чтобы представить вас моим гостям и чтобы они знали, кто вы такой; но для вас, д'Артаньян, надеюсь, я по-прежнему Атос, ваш товарищ и друг. Может быть, вы предпочитаете церемонность, потому что любите меня меньше, чем прежде?

– Упаси боже! – воскликнул гасконец с честным молодым порывом, которые так редки у людей зрелых.

– Ну, так вернемся к нашим старым обычаям и для начала будем откровенны. Вас все здесь удивляет, не правда ли?

– Чрезвычайно.

– И больше всего я сам? – с улыбкой прибавил Атос. – Признайтесь.

– Признаюсь.

– Я еще молод, не правда ли; несмотря на мои сорок девять лет, меня все еще можно узнать?

– Напротив, – ответил д'Артаньян, готовый до конца воспользоваться предложенной Атосом откровенностью, – вы совсем неузнаваемы.

– Понимаю! – сказал Атос, слегка покраснев. – Всему бывает конец, д'Артаньян, и этому сумасбродству, как всему другому.

– К тому же и ваши денежные дела изменились, как мне кажется. Вы живете в довольстве, – ведь этот дом ваш, я полагаю?

– Да. Это то самое именье, которое, как я говорил вам, досталось мне в наследство, когда я вышел в отставку.

– У вас есть парк, лошади, охота...

Атос улыбнулся.

– В парке двадцать акров; но из них часть взята под огороды и службы. Лошадей у меня всего две; я, понятно, не считаю кургузого конька, принадлежащего моему лакею. Охота ограничивается четырьмя ищейками, двумя борзыми и одной легавой. Да и вся эта охотничья роскошь заведена не для меня, – прибавил Атос, улыбаясь.

– Понятно, – сказал д'Артаньян, – это для молодого человека, для Рауля.

И д'Артаньян с невольной улыбкой посмотрел на Атоса.

– Вы угадали, мой друг, – ответил последний.

– А этот молодой человек – ваш питомец, ваш крестник, ваш родственник, быть может? Ах, как вы переменялись, мой дорогой Атос!

– Этот молодой человек, – спокойно ответил Атос, – сирота, которого мать подкинула одному бедному сельскому священнику; я вырастил и воспитал его.

– И он, вероятно, очень к вам привязан?

– Я думаю, что он любит меня как отца.

– И конечно, исполнен признательности?

– О, что касается признательности, то она должна быть взаимной: я обязан ему столько же, сколько он мне. Я не говорю ему этого, но вам, д'Артаньян, скажу правду: в сущности, я в долгу у него.

– Как так? – удивился мушкетер.

– Конечно, боже мой, как же иначе! Ведь он причина перемены, которую вы видите во мне. Я засыхал, как жалкое срубленное дерево, лишённое всякой связи с землей; и только сильная привязанность могла заставить меня пустить новые корни в жизнь. Любовница? Я был для этого стар. Другья? Вас уже не было со мной. И вот в этом ребенке я вновь обрел все, что потерял. Не имея более мужества жить для себя, я стал жить для него. Наставления полезны для ребенка, но добрый пример еще лучше. Я подавал ему пример, д'Артаньян. Я избавился от своих пороков и открыл в себе добродетели, которых раньше не имел. И полагаю, что не преувеличиваю, д'Артаньян. Рауль должен стать совершеннейшим дворянином, какого только наше обнищавшее время способно породить.

Д'Артаньян смотрел на Атоса с возрастающим восхищением. Они прогуливались в прохладной тенистой аллее, сквозь листву которой пробивались косые лучи заходящего солнца. Один из этих золотых лучей осветил лицо Атоса, глаза которого, казалось, излучали такой же теплый спокойный вечерний свет.

Неожиданно д'Артаньян вспомнил о миледи.

– И вы счастливы? – спросил он своего друга.

Острый взгляд Атоса проник в самую глубину сердца д'Артаньяна и словно прочел его мысли.

– Так счастлив, как только может быть счастлив на земле человек. Но договаривайте вашу мысль, д'Артаньян, ведь вы не все мне сказали.

– Вы проникательны, Атос, от вас ничего невозможно скрыть, – сказал д'Артаньян. – Да, я хотел вас спросить, не испытываете ли вы порой внезапных приступов ужаса, похожих на...

– Угрызения совести? – подхватил Атос. – Я договариваю вашу фразу, мой друг. И да и нет. Я не испытываю угрызений совести, потому что эта женщина, как я полагаю, заслужила понесенную ею кару. Потому что если бы ее оставили в живых, она, без сомнения, продолжала бы свое пагубное дело. Однако, мой друг, это не значит, чтобы я был убежден в нашем праве сделать то, что мы сделали. Быть может, всякая пролитая кровь требует искупления. Миледи уже поплатилась; может быть, в свою очередь, это предстоит и нам.

– Я иногда думаю то же самое, Атос, – сказал д'Артаньян.

– У этой женщины был, кажется, сын?

– Да.

– Вы слышали о нем что-нибудь?

– Ничего.

– Ему, должно быть, теперь двадцать три года, – прошептал Атос. – Я часто думаю об этом молодом человеке, д'Артаньян.

– Вот странно. А я совсем забыл о нем.

Атос грустно улыбнулся.

– А о лорде Винтере вы имеете известия?

– Я знаю, что он был в большой милости у короля Карла Первого.

– И вероятно, разделяет его судьбу, а она в настоящий момент печальна. Смотрите, д'Артаньян, – продолжал Атос, – это совершенно совпадает с тем, что я сейчас сказал. Он пролил кровь Страффорда. Кровь требует крови. А королева?

– Какая королева?

– Генриетта Английская, дочь Генриха Четвертого.

– Она в Лувре, как вам известно.

– Да, и она очень нуждается, не правда ли? Во время сильных холодов нынешней зимой ее больная дочь, как мне говорили, вынуждена была оставаться в постели, потому что не было дров. Понимаете ли вы это? – сказал Атос, пожимая плечами. – Дочь Генриха Четвертого дрожит от холода, не имея вязанки дров! Зачем не обратилась она к любому из нас, вместо того чтобы просить гостеприимства у Мазарини? Она бы ни в чем не нуждалась.

– Так вы ее знаете, Атос?

– Нет, но моя мать знавала ее ребенком. Я вам говорил, что моя мать была статс-дамой Марии Медичи?

– Никогда. Вы ведь не любите говорить о таких вещах, Атос.

– Ах, боже мой, совсем напротив, как вы сами видите, – ответил Атос. – Просто случая не было.

– Портос не ждал бы его так терпеливо, – сказал, улыбаясь, д'Артаньян.

– У всякого свой нрав, милый д'Артаньян. Портос, если забыть о его тщеславии, обладает большими достоинствами. Вы с ним виделись с тех пор?

– Я расстался с ним пять дней тому назад, – сказал д'Артаньян.

И тотчас же со свойственным гасконцам живым юмором он рассказал о великолепной жизни Портоса в его замке Пьерфон. А разбирая по косточкам Портоса, он задел два-три раза и достойного г-на Мустона.

– Замечательно, – ответил Атос, улыбаясь шуткам своего друга, напомнившим ему их славные дни, – замечательно, что мы тогда сошлись случайно и до сих пор соединены самой тесной дружбой, невзирая на двадцать лет разлуки. В благородных сердцах, д'Артаньян, дружба пускает глубокие корни. Поверьте, только злой человек может отрицать дружбу, и лишь потому, что он ее не понимает. А Арамис?

– Я его тоже видел, но он, мне показалось, был со мной холоден.

– Так вы виделись с Арамисом? – сказал Атос, пристально глядя на д'Артаньяна. – Право же, вы предприняли паломничество по храмам дружбы, говоря языком поэтов.

– Ну конечно, – ответил смущенно д'Артаньян.

– Арамис, вы сами знаете, – продолжал Атос, – по природе холоден; к тому же он постоянно запутан в интригах с женщинами.

– У него и сейчас очень сложная интрига, – заметил д'Артаньян.

Атос ничего не ответил.

«Он не любопытен», – подумал д'Артаньян.

Атос не только не ответил, но даже переменял разговор.

– Вот видите, – сказал он, обращая внимание д'Артаньяна на то, что они уже подошли к замку, – погуляв часок, мы обошли почти все мои владения.

– Все в них очаровательно, а в особенности то, что во всем чувствуется их владелец, – ответил д'Артаньян.

В эту минуту послышался конский топот.

– Это Рауль возвращается, он нам расскажет о бедной крошке.

Действительно, молодой человек весь в пыли показался за решеткой и скоро въехал во двор; он соскочил с лошади и, передав ее конюху, поклонился графу и д'Артаньяну.

– Этот господин, – сказал Атос, положив руку на плечо д'Артаньяна, – шевалье д'Артаньян, о котором я вам часто говорил, Рауль.

– Господин д'Артаньян, – сказал юноша, кланяясь еще ниже, – граф всегда называл мне ваше имя, когда хотел привести в пример отважного и великодушного дворянина.

Этот маленький комплимент тронул сердце д'Артаньяна. Протягивая руку Раулю, он отвечал:

– Мой юный друг, все такие похвалы надо обращать к графу, потому что это он воспитал меня, и не его вина, если ученик так плохо использовал его уроки. Но вы его вознаградите лучше, в этом я уверен. Вы нравитесь мне, Рауль, и ваша любезность тронула меня.

Атосу были чрезвычайно приятны эти слова; он благодарно взглянул на д'Артаньяна, потом улыбнулся Раулю той странной улыбкой, которая заставляет детей, когда они ее замечают, гордиться собой.

«Теперь, – подумал д'Артаньян, от которого не ускользнула немая игра их лиц, – я в этом уверен».

– Надеюсь, – сказал Атос, – несчастный случай не имел последствий?

– Еще ничего не известно, сударь. Из-за опухоли доктор ничего не мог сказать определенного. Он опасается все-таки, не повреждено ли сухожилие.

– И вы не остались дольше у госпожи де Сен-Реми?

– Я боялся опоздать к ужину, сударь, и заставить вас ждать себя.

В эту минуту крестьянский парень, заменявший лакея, доложил, что ужин подан.

Атос проводил гостя в столовую. Она была обставлена очень просто, но ее окна с одной стороны выходили в сад, а с другой – в оранжерею с чудесными цветами.

Д'Артаньян взглянул на сервировку, – она была великолепна; с первого взгляда было видно, что это все – старинное фамильное серебро. На поставце стоял превосходный серебряный кувшин. Д'Артаньян подошел, чтобы посмотреть на него.

– Какая дивная работа! – сказал он.

– Да, – ответил Атос, – это образцовое произведение одного великого флорентийского мастера, Бенвенуто Челлини.

– А что за битву оно изображает?

– Битву при Мариньяно, и как раз то самое мгновение, когда один из моих предков подает свою шпагу Франциску Первому, сломавшему свою. За это мой прадед Ангерран де Ла Фер получил орден Святого Михаила. Кроме того, пятнадцать лет спустя король, не забывший, что он в течение трех часов бился шпагой своего друга Ангеррана, не сломав ее, подарил ему этот кувшин и шпагу, которую вы, вероятно, видели у меня прежде; тоже недурная чеканная работа. То было время гигантов. Мы все карлики в сравнении с теми людьми. Садитесь, д'Артаньян, давайте поужинаем. Кстати, – обратился Атос к молодому лакею, подававшему суп, – позовите Шарло.

Паренек вышел, и спустя минуту вошел тот слуга, к которому наши путешественники обратились по приезде.

– Любезный Шарло, – сказал ему Атос, – поручаю вашему особенному вниманию Планше, лакея господина д'Артаньяна, на все время, пока они здесь пробудут. Он любит хорошее вино: ключи от погребов у вас. Ему часто приходилось спать на голой земле, и, вероятно, он не откажется от мягкой постели, позаботьтесь и об этом, пожалуйста.

Шарло поклонился и вышел.

– Шарло тоже милый человек, – сказал Атос. – Вот уже восемнадцать лет, как он мне служит.

– Вы очень заботливы, – сказал д'Артаньян. – Благодарю вас за Планше, мой дорогой Атос.

При этом имени молодой человек широко раскрыл глаза и посмотрел на графа, не понимая, к нему ли обращается д'Артаньян.

– Это имя кажется вам странным, Рауль? – сказал, улыбаясь, Атос. – Так звали меня товарищи по оружию. Я носил его в те времена, когда д'Артаньян, еще два храбрых друга и я проявляли свою храбрость у стен Ла-Рошели под начальством покойного кардинала и де Бассомпьера, ныне также умершего. Д'Артаньяну нравится по-старому звать меня этим дружеским именем, и всякий раз, когда я его слышу, мое сердце трепещет от радости.

– Это имя было знаменито, – сказал д'Артаньян, – и раз удостоилось триумфа.

– Как так, сударь? – спросил Рауль с юношеским любопытством.

– Право, я ничего не знаю об этом, – сказал Атос.

– Вы забыли о бастионе Сен-Жерве, Атос, и о той салфетке, которую три пули превратили в знамя? У меня память получше, я все помню, и сейчас вы узнаете об этом, молодой человек.

И он рассказал Раулю случай на бастионе, как раньше Атос рассказывал историю своего предка.

Молодой человек слушал д'Артаньяна так, словно перед ним воочию проходили подвиги из лучших времен рыцарства, о которых повествуют Тассо и Ариосто.

– Но д'Артаньян не сказал вам, Рауль, – заметил, в свою очередь, Атос, – что он был одним из лучших бойцов того времени: ноги крепкие, как железо, кисть руки гибкая, как сталь, безошибочный глазомер и пламенный взгляд, – вот какие качества обнаруживали в нем противники! Ему было восемнадцать лет, только на три года больше, чем вам теперь, Рауль, когда я в первый раз увидел его в деле, и против людей бывалых.

– И господин д'Артаньян остался победителем? – спросил юноша.

Глаза его горели и словно молили о подробностях.

– Кажется, я одного убил, – сказал д'Артаньян, спрашивая глазами Атоса, – а другого обезоружил или ранил, не помню точно.

– Да, вы его ранили. О, вы были страшный силач!

– Ну, мне кажется, я с тех пор не так уж ослабел, – ответил д'Артаньян, усмехнувшись с гасконским самодовольством. – Недавно еще...

Взгляд Атоса заставил его умолкнуть.

– Вот вы полагаете, Рауль, что ловко владеете шпагой, – сказал Атос, – но, чтобы вам не пришлось в том жестоко разочароваться, я хотел бы показать вам, как опасен человек, который с ловкостью соединяет хладнокровие. Я не могу привести более разительного примера: попросите завтра господина д'Артаньяна, если он не очень устал, дать вам урок.

– Но, черт побери, вы, милый Атос, ведь и сами хороший учитель и лучше всех можете обучить тому, за что хвалите меня. Не далее как сегодня Планше напоминал мне о знаменитом поединке возле монастыря кармелиток с лордом Винтером и его приятелями. Ах, молодой человек, там не обошлось без участия бойца, которого я часто называл первой шпагой королевства.

– О, я испортил себе руку с этим мальчиком, – сказал Атос.

– Есть руки, которые никогда не портятся, мой дорогой Атос, но зато часто портят руки другим.

Молодой человек готов был продолжать разговор хоть всю ночь, но Атос заметил ему, что их гость, вероятно, утомлен и нуждается в отдыхе. Д'Артаньян из вежливости протестовал, однако Атос настоял, чтобы он вступил во владение своей комнатой. Рауль проводил его туда. Но так как Атос предвидел, что он постарается там задержаться, чтоб заставить д'Артаньяна рассказывать о лихих делах их молодости, то через минуту он зашел за ним сам и закончил этот славный вечер дружеским рукопожатием и пожеланием спокойной ночи мушкетеру.

Глава XVII

Дипломатия Атоса

Д'Артаньян лег в постель, желая не столько уснуть, сколько остаться в одиночестве и обдумать все слышанное и виденное за этот вечер.

Будучи добрым по природе и ощутив к Атосу с первого взгляда инстинктивную привязанность, перешедшую впоследствии в искреннюю дружбу, он теперь был в восхищении, что нашел не опустившегося пьяницу, потягивающего вино, в грязи и бедности, а человека блестящего ума и в расцвете сил. Он с готовностью признал обычное превосходство над собою Атоса и, вместо зависти и разочарования, которые почувствовал бы на его месте менее великодушный человек, ощутил только искреннюю, благородную радость, подкреплявшую самые радужные надежды на исход его предприятия.

Однако ему казалось, что Атос был не вполне прям и откровенен. Кто такой этот молодой человек? По словам Атоса, его приемыш, а между тем он так поразительно похож на своего приемного отца. Что означало возвращение к светской жизни и чрезмерная воздержанность, которую он заметил за столом? Даже незначительное, по-видимому, обстоятельство – отсутствие Гримо, с которым Атос был прежде неразлучен и о котором даже ни разу не вспомнил, несмотря на то что поводов к тому было довольно, – все это беспокоило д'Артаньяна. Очевидно, он не пользовался больше доверием своего друга; быть может, Атос был чем-нибудь связан или даже был заранее предупрежден о его посещении.

Д'Артаньяну невольно вспомнился Рошфор и слова его в соборе Богоматери. Неужели Рошфор опередил его у Атоса?

Разбираться в этом не было времени. Д'Артаньян решил завтра же приступить к выяснению. Недостаток средств, так ловко скрываемый Атосом, свидетельствовал о желании его казаться богаче и выдавал в нем остатки бывшего честолюбия, разбудить которое не будет стоить большого труда. Сила ума и ясность мысли Атоса делали его человеком более восприимчивым, чем другие. Он согласится на предложение министра с тем большей готовностью, что стремление к награде удвоит его природную подвижность.

Эти мысли не давали д'Артаньяну уснуть, несмотря на усталость. Он обдумывал план атаки, и хотя знал, что Атос сильный противник, тем не менее решил открыть наступательные действия на следующий же день, после завтрака.

Однако же он думал и о том, что при столь неясных обстоятельствах следует продвигаться вперед с осторожностью, изучать в течение нескольких дней знакомых Атоса, следить за его новыми привычками, хорошенько понять их и при этом постараться извлечь из простодушного юноши, с которым он будет фехтовать или охотиться, добавочные сведения, недостающие ему для того, чтобы найти связь между прежним и теперешним Атосом. Это будет нетрудно, потому что личность наставника, наверное, оставила след в сердце и уме воспитанника. Но в то же время д'Артаньян, сам будучи человеком проницательным, понимал, в каком невыгодном положении он может оказаться, если какая-нибудь неосторожность или неловкость с его стороны позволит опытному глазу Атоса заметить его уловки.

Кроме того, надо сказать, что д'Артаньян, охотно хитривший с лукавым Арамисом и тщеславным Портосом, стыдился кривить душой перед Атосом, человеком прямым и честным. Ему казалось, что если бы он перехитрил Арамиса и Портоса, это заставило бы их только с большим уважением относиться к нему, тогда как Атос, напротив того, стал бы его меньше уважать.

– Ах, зачем здесь нет Гримо, молчаливого Гримо! – говорил д'Артаньян. – Я бы многое понял из его молчания. Гримо молчал так красноречиво!

Между тем в доме понемногу все затихало. Д'Артаньян слышал хлопанье запираемых дверей и ставен. Потом замолкли собаки, отвечавшие лаем на лай деревенских собак; соловей, притаившийся в густой листве деревьев и рассыпавший среди ночи свои мелодичные трели, тоже наконец уснул. В доме слышались только однообразные звуки размеренных шагов над комнатой д'Артаньяна; должно быть, там помещалась спальня Атоса.

«Он ходит и размышляет, – подумал д'Артаньян. – Но о чем? Узнать это невозможно. Можно угадать все, что угодно, но только не это».

Наконец Атос, по-видимому, лег в постель, потому что и эти последние звуки затихли.

Тишина и усталость одолели наконец д'Артаньяна; он тоже закрыл глаза и тотчас же погрузился в сон.

Д'Артаньян не любил долго спать. Едва заря позолотила занавески, как он соскочил с кровати и открыл окна. Сквозь жалюзи он увидел, что кто-то бродит по двору, стараясь двигаться бесшумно. По своей привычке не оставлять ничего без внимания, д'Артаньян стал осторожно и внимательно всматриваться и узнал гранатовый колет и темные волосы Рауля.

Молодой человек – так как это был действительно он – отворил дверь конюшни, вывел гнедую лошадь, на которой ездил накануне, взнуздal и оседлал ее с проворством и ловкостью самого опытного конюха, затем провел лошадь по правой аллее плодового сада, отворил боковую калитку, выходящую на тропинку, вывел лошадь, запер калитку за собой, и д'Артаньян увидел, поверх стены, как он полетел стрелой, пригибаясь под низкими цветущими ветвями акаций и кленов.

Д'Артаньян еще вчера заметил, что эта тропинка вела в Блуа.

«Эге, – подумал гасконец, – этот ветреник уже пошаливает! Видно, он не разделяет ненависти Атоса к прекрасному полу. Он не мог поехать на охоту без ружья и без собак; едва ли он едет по делу, он бы тогда не скрывался. От кого он прячется?.. От меня или от отца?.. Я уверен, что граф – отец ему... Черт возьми! Уж это-то я узнаю, поговорю начистоту с самим Атосом».

Утро разгоралось. Д'Артаньян снова услышал все те звуки, которые замирали один за другим вчера вечером, – все начинало пробуждаться: ожили птицы на ветвях, собаки в конурах, овцы на пастбище; ожили, казалось, даже привязанные к берегу барки на Луаре и, отделясь от берегов, поплыли вниз по течению. Д'Артаньян, чтобы никого не будить, оставался у своего окна, но, заслышав в замке шум отворяемых дверей и ставен, он еще раз пригладил волосы, подкрутил усы, по привычке почистил рукавом своего колета поля шляпы и сошел вниз. Спустившись с последней ступеньки крыльца, он заметил Атоса, наклонившегося к земле в позе человека, который ищет затерянную в песке монету.

– С добрым утром, дорогой хозяин! – сказал д'Артаньян.

– С добрым утром, милый друг. Как провели ночь?

– Превосходно, мой друг; да и все у вас тут превосходно: и кровать, и вчерашний ужин, и весь ваш прием. Но что вы так усердно рассматриваете? Уж не сделали ли вы, чего доброго, любителем тюльпанов?

– Над этим, мой друг, не следует смеяться. В деревне вкусы очень меняются, и, сам того не замечая, начинаешь любить все то прекрасное, что природа выводит на свет из-под земли и чем так пренебрегают в городах. Я просто смотрел на ирисы: я посадил их вчера у бассейна, а сегодня утром их затоптали. Эти садовники такой неуклюжий народ. Ездили за водой и не заметили, что лошадь ступает по грядке.

Д'Артаньян улыбнулся.

– Вы так думаете? – спросил он.

И он повел друга в аллею, где отпечаталось немало следов, подобных тем, от которых пострадали ирисы.

– Вот, кажется, еще следы, посмотрите, Атос, – равнодушно сказал д'Артаньян.

– В самом деле. И еще совсем свежие!

- Совсем свежие, – подтвердил д'Артаньян.
- Кто мог выехать сегодня утром? – спросил с тревогой Атос. – Не вырвалась ли лошадь из конюшни?
- Не похоже, – сказал д'Артаньян, – шаги очень ровные и спокойные.
- Где Рауль? – воскликнул Атос. – И как могло случиться, что я его не видел!
- Ш-ш, – остановил его д'Артаньян, приложив с улыбкой палец к губам.
- Что здесь произошло? – спросил Атос.
- Д'Артаньян рассказал все, что видел, пристально следя за лицом хозяина.
- А, теперь я догадываюсь, в чем дело, – ответил Атос, слегка пожав плечами. – Бедный мальчик поехал в Блуа.
- Зачем?
- Да затем, бог мой, чтобы узнать о здоровье маленькой Лавальер. Помните, той девочки, которая вывихнула себе ногу?
- Вы думаете? – недоверчиво спросил д'Артаньян.
- Не только думаю, но уверен в этом, – ответил Атос. – Разве вы не заметили, что Рауль влюблен?
- Что вы? В кого? В семилетнюю девочку?
- Милый друг, в возрасте Рауля сердце бывает так полно, что необходимо излить его на что-нибудь, будь то мечта или действительность. Ну а его любовь – то и другое вместе.
- Вы шутите! Как? Эта крошка?
- Разве вы ее не видали? Это прелестнейшее создание. Серебристо-белокурые волосы и голубые глаза, уже сейчас задорные и томные.
- А что скажете вы про эту любовь?
- Я ничего не говорю, смеюсь и подшучиваю над Раулем; но первые потребности сердца так неодолимы, порывы любовной тоски у молодых людей так сладки и так горьки в то же время, что часто носят все признаки настоящей страсти. Я помню, что сам в возрасте Рауля влюбился в греческую статую, которую добрый король Генрих Четвертый подарил моему отцу. Я думал, что сойду с ума от горя, когда узнал, что история Пигмалиона – пустой вымысел.
- Это от безделья. Вы не стараетесь ничем занять Рауля, и он сам ищет себе занятий.
- Именно. Я уж подумываю удалить его отсюда.
- И хорошо сделаете.
- Разумеется. Но это значило бы разбить его сердце, и он страдал бы, как от настоящей любви. Уже года три-четыре тому назад, когда он сам был ребенком, он начал восхищаться этой маленькой богиней и угождать ей, а теперь дойдет до обожания, если останется здесь. Дети каждый день вместе строят всякие планы и беседуют о множестве серьезных вещей, словно им по двадцать лет и они настоящие влюбленные. Родные маленькой Лавальер сначала все посмеивались, но и они, кажется, начинают хмурить брови.
- Ребячество. Но Раулю необходимо рассеяться. отошлите его поскорей отсюда, не то, черт возьми, он у вас никогда не станет мужчиной.
- Я думаю послать его в Париж, – сказал Атос.
- А, – отозвался д'Артаньян и подумал, что настала удобная минута для нападения. – Если хотите, – сказал он, – мы можем устроить судьбу этого молодого человека.
- А, – в свою очередь, сказал Атос.
- Я даже хочу с вами посоветоваться относительно одной вещи, пришедшей мне на ум.
- Извольте.
- Как вы думаете, не пора ли нам поступить опять на службу?
- Разве вы не состоите все время на службе, д'Артаньян?

– Скажу точнее; речь идет о деятельной службе. Разве прежняя жизнь вас больше не соблазняет и, если бы вас ожидали действительные выгоды, не были бы вы рады возобновить в компании со мной и нашим другом Портосом былые похождения?

– Кажется, вы мне это предлагаете? – спросил Атос.

– Прямо и чистосердечно.

– Снова взяться за оружие?

– Да.

– За кого и против кого? – спросил вдруг Атос, устремив на гасконца свой ясный и доброжелательный взгляд.

– Ах, черт! Вы слишком тороптивы.

– Прежде всего я точен. Послушайте, д'Артаньян, есть только одно лицо, или, лучше сказать, одно дело, которому человек, подобный мне, может быть полезен: дело короля.

– Вот это сказано точно, – сказал мушкетер.

– Да, но прежде условимся, – продолжал серьезно Атос. – Если стать на сторону короля, по-вашему, значит стать на сторону Мазарини, мы с вами не сойдемся.

– Я не сказал этого, – ответил, смутившись, гасконец.

– Знаете что, д'Артаньян, – сказал Атос, – не будем хитрить друг с другом. Ваши умолчания и увертки отлично объясняют мне, по чьему поручению вы сюда явились. О таком деле действительно не решаются говорить громко и охотников на него вербуют втихомолку, потупив глаза.

– Ах, милый Атос! – сказал д'Артаньян.

– Вы понимаете, – продолжал Атос, – что я говорю не про вас – вы лучший из всех храбрых и отважных людей, – я говорю об этом скаредном итальянце-интригане, об этом холопе, пытающемся надеть на голову корону, украденную из-под подушки, об этом шуте, называющем свою партию партией короля и запирающем в тюрьмы принцев крови, потому что он не смеет казнить их, как делал наш кардинал, великий кардинал. Теперь на этом месте ростовщик, который взвешивает золото и, обрезая монеты, прячет обрезки, опасаясь ежеминутно, несмотря на свое шулерство, завтра проиграть; словом, я говорю о негодяе, который, как говорят, ни в грош не ставит королеву. Что ж, тем хуже для нее! Этот негодяй через три месяца вызовет междоусобную войну только для того, чтобы сохранить свои доходы. И к такому-то человеку вы предлагаете мне поступить на службу, д'Артаньян? Благодарю!

– Помилуй бог, да вы стали еще вспыльчивей, чем прежде! – сказал д'Артаньян. – Годы разожгли вашу кровь, вместо того чтобы охладить ее. Кто говорит вам, что я служу этому господину и вас склоняю к тому же?

«Черт возьми, – подумал он, – нельзя выдавать тайну человеку, так враждебно настроенному».

– Но в таком случае, мой друг, – возразил Атос, – что же означает ваше предложение?

– Ах, боже мой, ничего не может быть проще. Вы живете в собственном имении и, по видимому, совершенно счастливы в своей золотой умеренности. У Портоса пятьдесят, а может быть, и шестьдесят тысяч ливров дохода. У Арамиса по-прежнему полтора десятка герцогинь, которые оспаривают друг у друга прелата, как оспаривали прежде мушкетера; это вечный баловень судьбы. Но я, что я собой представляю? Двадцать лет ношу латы и рейтузы, а все сижу в том же, притом незавидном, чине, не двигаюсь ни назад, ни вперед, не живу. Одним словом, я мертв. И вот, когда мне предоставляется возможность хоть чуточку ожить, вы все поднимаете крик: «Это подлец! Шут! Обманщик! Как можно служить такому человеку?» Эх, черт возьми! Я сам думаю так же, но сыщите мне кого-нибудь получше или платите мне пенсию.

Атос задумался на три секунды и в эти три секунды понял хитрость д'Артаньяна, который, слишком зарвавшись сначала, теперь обрывал все разом, чтобы скрыть свою игру. Он

ясно видел, что предложение сделано было ему серьезно и было бы изложено полностью, если бы он выказал желание выслушать его.

«Так! – подумал он. – Значит, д'Артаньян – сторонник Мазарини».

И с этой минуты Атос сделался крайне сдержан.

Д'Артаньян, со своей стороны, стал еще осторожнее.

– Но ведь у вас, наверное, есть какие-то намерения? – продолжал спрашивать Атос.

– Разумеется. Я хотел посоветоваться со всеми вами и придумать средство что-нибудь сделать, потому что каждому из нас всегда будет недоставать других.

– Это правда. Вы говорили мне о Портосе. Неужели вы склонили его искать богатства?

Мне кажется, он достаточно богат.

– Да, он богат. Но человек так создан, что ему всегда не хватает еще чего-нибудь.

– Чего же не хватает Портосу?

– Баронского титула.

– Да, правда, я и забыл, – засмеялся Атос.

«Правда! – подумал д'Артаньян. – А откуда он знает? Уж не переписывается ли он с Арамисом? Ах, если бы мне только это узнать, я бы узнал и все остальное!»

Тут разговор оборвался, так как вошел Рауль. Атос хотел ласково побранить его, но юноша был так печален, что у Атоса не хватило духу, он смолчал и стал расспрашивать, в чем дело.

– Не хуже ли нашей маленькой соседке? – спросил д'Артаньян.

– Ах, сударь, – почти задыхаясь от горя, отвечал Рауль, – ушиб очень опасен, и, хотя видимых повреждений нет, доктор боится, как бы девочка не осталась хромой на всю жизнь.

– Это было бы ужасно! – сказал Атос.

У д'Артаньяна вертелась на языке шутка, но, увидев, какое участие принимает Атос в этом горе, он сдержался.

– Ах, сударь, меня совершенно приводит в отчаяние, – сказал Рауль, – то, что я сам виноват во всем этом.

– Вы? Каким образом, Рауль? – спросил Атос.

– Конечно, ведь она соскочила с бревна для того, чтобы бежать ко мне.

– Вам остается только одно средство, милый Рауль: жениться на ней и этим искупить свою вину, – сказал д'Артаньян.

– Ах, сударь, вы смеетесь над искренним горем, это очень дурно, – ответил Рауль.

И, чувствуя потребность остаться одному, чтобы выплакаться, он ушел в свою комнату, откуда вышел только к завтраку.

Дружеские отношения обоих приятелей несколько не пострадали от утренней стычки, а потому они завтракали с большим аппетитом, изредка посматривая на Рауля, который сидел за столом с влажными от слез глазами, с тяжестью на сердце и почти не мог есть.

К концу завтрака было подано два письма, которые Атос прочел с величайшим вниманием, невольно вздрогнув при этом несколько раз. Д'Артаньян, сидевший на другом конце стола и отличавшийся прекрасным зрением, готов был поклясться, что узнал мелкий почерк Арамиса. Другое письмо было написано женским растянутым и неровным почерком.

– Пойдемте фехтовать, – сказал д'Артаньян Раулю, видя, что Атос желает остаться один, чтобы ответить на письма или обдумать их. – Пойдемте, это развлечет вас.

Молодой человек взглянул на Атоса; тот утвердительно кивнул головой.

Они прошли в нижнюю залу, в которой были развешаны рапиры, маски, перчатки, нагрудники и прочие фехтовальные принадлежности.

– Ну как? – спросил Атос, придя к ним через четверть часа.

– У него совсем ваша рука, дорогой Атос, – сказал д'Артаньян, – а если бы у него было вдобавок и ваше хладнокровие, не оставалось бы желать ничего лучшего...

Молодой человек чувствовал себя пристыженным. Если он два-три раза и задел руку или бедро д'Артаньяна, то последний раз двадцать кольнул его прямо в грудь.

Тут вошел Шарло и подал д'Артаньяну очень спешное письмо, только что присланное с нарочным.

Теперь пришла очередь Атоса украдкой поглядывать на письмо.

Д'Артаньян прочел его, по-видимому, без всякого волнения и сказал, слегка покачивая головой:

– Вот что значит служба. Ей-богу, вы сто раз правы, что не хотите больше служить! Тре-виль заболел, и без меня не могут обойтись в полку. Видно, пропал мой отпуск.

– Вы возвращаетесь в Париж? – живо спросил Атос.

– Да, конечно, – ответил д'Артаньян. – А разве вы не едете туда же?

– Если я попаду в Париж, то очень рад буду с вами увидеться, – слегка покраснев, ответил Атос.

– Эй, Планше! – крикнул д'Артаньян в дверь. – Через десять минут мы уезжаем. Задай овса лошадям. – И, обернувшись к Атосу, прибавил: – Мне все кажется, будто мне чего-то не хватает, и я очень жалею, что уезжаю от вас, не повидавшись с добрым Гримо.

– Гримо? – сказал Атос. – Действительно, я тоже удивляюсь, отчего вы о нем не спрашиваете. Я уступил его одному из моих друзей.

– Который понимает его знаки? – спросил д'Артаньян.

– Надеюсь, – ответил Атос.

Друзья сердечно обнялись. Д'Артаньян пожал руку Раулю, взял обещание с Атоса, что тот зайдет к нему, если будет в Париже, или напишет, если не поедет туда, и вскочил на лошадь. Планше, исправный, как всегда, был уже в седле.

– Не хотите ли проехаться со мной? – смеясь, спросил Рауль д'Артаньян. – Я еду через Блуа.

Рауль взглянул на Атоса; тот удержал его едва заметным движением головы.

– Нет, сударь, – ответил молодой человек, – я останусь с графом.

– В таком случае прощайте, друзья мои, – сказал д'Артаньян, в последний раз пожимая им руки. – Да хранит вас бог, как говаривали мы, расставаясь в старину при покойном кардинале.

Атос махнул рукой на прощание, Рауль поклонился, и д'Артаньян с Планше уехали.

Граф следил за ними глазами, опершись на плечо юноши, который был почти одного с ним роста. Но едва д'Артаньян исчез за стеной, он сказал:

– Рауль, сегодня вечером мы едем в Париж.

– Как! – воскликнул молодой человек, бледнея.

– Вы можете съездить попрощаться с госпожой де Сен-Реми и передать ей мой прощальный привет. Я буду ждать вас обратно к семи часам.

Со смешанным выражением грусти и благодарности на лице молодой человек поклонился и пошел седлать лошадь.

А д'Артаньян, едва скрывшись из поля их зрения, вытащил из кармана письмо и перечел его:

«Возвращайтесь немедленно в Париж.

Дж. М.».

– Сухое письмо, – проворчал д'Артаньян, – и не будь приписки, я, может быть, не понял бы его; но, к счастью, приписка есть.

И он прочел приписку, примирившую его с сухостью письма:

«P. S. Поезжайте к королевскому казначею в Блуа, назовите ему вашу фамилию и покажите это письмо: вы получите двести пистолей».

– Решительно, такая проза мне нравится, – сказал д'Артаньян. – Кардинал пишет лучше, чем я думал. Едем, Планше, сделаем визит королевскому казначею и затем поскачем дальше.

– В Париж, сударь?

– В Париж.

И оба поехали самой крупной рысью, на какую только были способны их лошади.

Глава XVIII Герцог де Бофор

Вот что случилось, и вот каковы были причины, потребовавшие возвращения д'Артаньяна в Париж.

Однажды вечером Мазарини, по обыкновению, пошел к королеве, когда все уже удалились от нее, и, проходя мимо караульной комнаты, из которой дверь выходила в одну из его приемных, услышал громкий разговор. Желая узнать, о чем говорят солдаты, он, по своей привычке, подкрался к двери, приоткрыл ее и просунул голову в щель.

Между караульными шел спор.

– А я вам скажу, – говорил один из них, – что если Куазель предсказал, то, значит, дело такое же верное, как если б оно уже сбылось. Я сам его не знаю, но слышал, что он не только звездочет, но и колдун.

– Черт возьми, если ты его приятель, так будь поосторожнее! Ты оказываешь ему плохую услугу.

– Почему?

– Да потому, что его могут притянуть к суду.

– Вот еще! Теперь колдунов не сжигают!

– Так-то оно так, но мне сдается, что еще очень недавно покойный кардинал приказал сжечь Урбена Грандье. Уж я-то знаю об этом: сам стоял на часах у костра и видел, как его жарили.

– Эх, милый мой! Урбен Грандье был не колдун, а ученый, – это совсем другое дело. Урбен Грандье будущего не предсказывал. Он знал прошлое, а это иной раз бывает гораздо хуже.

Мазарини одобрительно кивнул головой; однако, желая узнать, что это за предсказание, о котором шел спор, он не двинулся с места.

– Я не спорю: может быть, Куазель и колдун, – возразил другой караульный, – но я говорю тебе, что если он оглашает наперед свои предсказания, они могут и не сбыться.

– Почему?

– Очень понятно. Ведь если мы станем биться на шпагах и я тебе скажу: «Я сделаю прямой выпад», ты, понятно, парируешь его. Так и тут. Если Куазель говорит так громко и до ушей кардинала дойдет, что «к такому-то дню такой-то узник сбежит», кардинал, очевидно, примет меры, и узник не сбежит.

– Полноте, – заговорил солдат, казалось, дремавший на скамье, но, несмотря на одолевшую его дремоту, не пропустивший ни слова из всего разговора. – От судьбы не уйдешь. Если герцогу де Бофору суждено удрать, герцог де Бофор удерет, и никакие меры кардинала тут не помогут.

Мазарини вздрогнул. Он был итальянец и, значит, суеверен; он поспешно вошел к гвардейцам, которые при его появлении прервали свой разговор.

– О чем вы толкуете, господа? – спросил он ласково. – Кажется, о том, что герцог де Бофор убежал?

– О нет, монсеньор, – заговорил солдат-скептик. – Сейчас он и не помышляет об этом. Говорят только, что ему суждено сбежать.

– А кто это говорит?

– Ну-ка, расскажите еще раз вашу историю, Сен-Лоран, – обратился солдат к рассказчику.

– Монсеньор, – сказал гвардеец, – я просто с чужих слов рассказал этим господам о предсказании некоего Куазеля, который утверждает, что как ни крепко стерегут герцога де Бофора, а он убежит еще до троицына дня.

– А этот Куазель юродивый или сумасшедший? – спросил кардинал, все еще улыбаясь.

– Нисколько, – ответил твердо веривший в предсказание гвардеец. – Он предсказал много вещей, которые сбылись: например, что королева родит сына, что Колиньи будет убит на дуэли герцогом Гизом, наконец, что коадьютор будет кардиналом. И что же, королева родила не только одного сына, но через два года еще второго, а Колиньи был убит.

– Да, – ответил Мазарини, – но коадьютор еще не кардинал.

– Нет еще, монсеньор, но он им будет.

Мазарини поморщился, словно желая сказать: «Ну, шапки-то у него еще нет». Потом добавил:

– Итак, вы уверены, мой друг, что господин де Бофор убежит?

– Так уверен, монсеньор, – ответил солдат, – что если ваше преосвященство предложит мне сейчас должность господина де Шавиньи, коменданта Венсенского замка, то я ее не приму. Вот после троицы – это дело другое.

Ничто так не убеждает нас, как глубокая вера другого человека. Она влияет даже на людей неверующих; а Мазарини не только не был неверующим, но даже был, как мы сказали, суеверным. И потому он ушел весьма озабоченный.

– Скрыга! – сказал гвардеец, который стоял, прислонившись к стене. – Он притворяется, будто не верит вашему колдуну, Сен-Лоран, чтобы только ничего вам не дать; он еще и к себе не доберется, как заработает на вашем предсказании.

В самом деле, вместо того чтобы пройти в покои королевы, Мазарини вернулся в кабинет и, позвав Бернуина, отдал приказ завтра с рассветом послать за надзирателем, которого он приставил к де Бофору, и разбудить себя немедленно, как только тот приедет.

Солдат, сам того не зная, разбередил самую большую рану кардинала. В продолжение пяти лет, которые Бофор просидел в тюрьме, не проходило дня, чтобы Мазарини не думал о том, что рано ли, поздно ли, а Бофор оттуда выйдет. Внука Генриха IV в заточении всю жизнь не продержишь, в особенности когда этому внуку Генриха IV едва тридцать лет от роду. Но каким бы путем он ни вышел из тюрьмы, – сколько ненависти он должен был скопить за время заключения к тому, кто был в этом повинен; к тому, кто приказал схватить его, богатого, смелого, увенчанного славой, любимого женщинами и грозного для мужчин; к тому, кто отнял у него лучшие годы жизни – ведь нельзя же назвать жизнью прозябание в тюрьме! Пока что Мазарини все усиливал надзор за Бофором. Но он походил на скупца из басни, которому не спалось возле своего сокровища. Не раз ему снилось, что у него похитили Бофора, и он вскакивал по ночам. Тогда он осведомлялся о нем и всякий раз, к своему огорчению, слышал, что узник самым благополучным образом пьет, поет, играет и среди игр, вина и песен не перестает клясться, что Мазарини дорого заплатит за все те удовольствия, которые насильно доставляют ему в Венсене.

Эта мысль тревожила министра даже во сне, так что, когда в семь часов Бернуин вошел разбудить его, первыми его словами были:

– А? Что случилось? Неужели господин де Бофор бежал из Венсена?

– Не думаю, монсеньор, – ответил Бернуин, которому никогда не изменяла его выдержка. – Во всяком случае, вы сейчас узнаете все новости, потому что надзиратель Ла Раме, за которым вы послали сегодня утром в Венсенский замок, прибыл и ожидает ваших приказаний.

– Откройте дверь и введите его сюда, – сказал Мазарини, поправляя подушки, чтобы принять Ла Раме, сидя в постели.

Офицер вошел. Это был высокий и полный мужчина, толстощекий и представительный. Он имел такой безмятежный вид, что Мазарини встревожился.

– Этот парень, по-моему, очень смахивает на дурака, – пробормотал он.

Надзиратель молча остановился у дверей.

– Подойдите, сударь! – приказал Мазарини.

Надзиратель повиновался.

– Знаете ли вы, о чем здесь болтают?

– Нет, ваше преосвященство.

– Что герцог Бофор убежит из Венсена, если еще не сделал этого.

На лице офицера выразилось величайшее изумление. Он широко раскрыл свои маленькие глазки и большой рот, словно впивая шутку, которой удостоил его кардинал. Затем, не в силах удержаться от смеха при подобном предположении, расхохотался, да так, что его толстое тело затряслось, как от сильного озноба.

Мазарини порадовался этой довольно непочтительной несдержанности, но тем не менее сохранил свой серьезный вид.

Вдоволь насмеявшись и вытерев глаза, Ла Раме решил, что пора наконец заговорить и извиниться за свою неприличную веселость.

– Убежит, монсеньор! Убежит! – сказал он. – Но разве вашему преосвященству не известно, где находится герцог де Бофор?

– Разумеется, я знаю, что он в Венсенском замке.

– Да, монсеньор, и в его комнате стены в семь футов толщиной, окна с железными решетками, и каждая перекладина в руку толщиной.

– Помните, – сказал Мазарини, – что при некотором терпении можно долбить любую стену и перепилить решетку часовой пружиной.

– Вам, может быть, неизвестно, монсеньор, что при узнике состоят восемь караульных: четверо в его комнате и четверо в соседней, и они ни на минуту не оставляют его.

– Но ведь он выходит из своей комнаты, играет в шары и в мяч.

– Монсеньор, все эти развлечения дозволены заключенным. Впрочем, если вам угодно, его можно лишить их.

– Нет, нет, – сказал Мазарини, боясь, чтобы его узник, лишенный и этих удовольствий, не вышел из замка (если он когда-нибудь из него выйдет) еще более озлобленным против него. – Я только спрашиваю, с кем он играет.

– Он играет с караульным офицером, монсеньор, со мной или с другими заключенными.

– А не подходит ли он близко к стенам во время игры?

– Разве вашему преосвященству не известно, какие это стены? Почти шестьдесят футов высоты. Едва ли герцогу Бофору так надоела жизнь, чтобы он рискнул сломать себе шею, спрыгнув с такой стены.

– Гм! – отозвался кардинал, начиная успокаиваться. – Итак, вы полагаете, мой милый господин Ла Раме, что...

– Что пока герцог не ухитрится превратиться в птичку, я за него ручаюсь.

– Смотрите не увлекайтесь, – сказал Мазарини. – Господин де Бофор сказал конвойным, отводившим его в замок, будто он не раз думал о том, что может быть арестован, и потому держит в запасе сорок способов бежать из тюрьмы.

– Монсеньор, если бы из этих сорока способов был хоть один годный, – ответил Ла Раме, – он бы давно был на свободе.

«Гм, ты не так глуп, как я думал», – пробормотал про себя Мазарини.

– К тому же не забывайте, монсеньор, что комендант Венсенского замка – господин де Шавиньи, – продолжал Ла Раме, – а он не принадлежит к друзьям герцога де Бофора.

– Да, но господин де Шавиньи иногда отлучается.

– Когда он отлучается, остаюсь я.

– Ну а когда вы сами отлучаетесь?

– О, на этот случай у меня есть один малый, который метит сделаться королевским надсмотрщиком. Этот, ручаюсь вам, стережет на совесть. Вот три недели, как он у меня служит, и я лишь в одном могу упрекнуть его, – он слишком суров к узнику.

– Кто же этот цербер? – спросил кардинал.

– Некий господин Гримо, монсеньор.

– А что он делал до того, как поступил к вам на службу в замок?

– Он жил в провинции, набедокурил там по глупости и теперь, кажется, рад укрыться от ответственности, надев королевский мундир.

– А кто рекомендовал вам этого человека?

– Управитель герцога де Граммона.

– Так, по-вашему, на него можно положиться?

– Как на меня самого, монсеньор.

– И он не болтун?

– Господи Иисусе! Я долго думал, монсеньор, что он немой: он и говорит и отвечает только знаками. Кажется, его прежний господин приучил его к этому.

– Так скажите ему, милый господин Ла Раме, – продолжал кардинал, – что если он будет хорошим и верным сторожем, мы закроем глаза на его шалости в провинции, наденем на него мундир, который заставит всех относиться к нему с уважением, а в карманы мундира положим несколько пистолей, чтобы он выпил за здоровье короля.

Мазарини был щедр на обещания – полная противоположность славному Гримо, которого так расхвалил Ла Раме: тот говорил мало, но делал много.

Кардинал забросал Ла Раме еще кучей вопросов об узнике, о его помещении, о том, как он спит, как его кормят. На эти вопросы Ла Раме дал такие исчерпывающие ответы, что кардинал отпустил его почти совсем успокоенный.

Затем, так как было уже девять часов утра, он встал, надушился, оделся и прошел к королеве, чтобы сообщить ей о причинах, задержавших его. Королева, боявшаяся де Бофора не меньше самого кардинала и почти столь же суеверная, заставила его повторить слово в слово все уверения Ла Раме и все похвалы, которые тот расточал своему помощнику; затем, когда кардинал кончил, сказала вполголоса:

– Как жаль, что у нас нет такого Гримо для каждого принца.

– Терпение, – сказал Мазарини со своей итальянской улыбкой, – быть может, когда-нибудь мы этого и добьемся, а пока...

– А пока?..

– Я все же приму кое-какие меры предосторожности.

И он написал д'Артаньяну, чтобы тот немедленно возвратился.

Глава XIX

Чем развлекался Герцог Бофор в Венсенском замке

Узник, наводивший такой страх на кардинала и смущавший покой всего двора своими сорока способами побега, нимало не подозревал о страхах, которые внушала в Пале-Рояле его особа.

Его стерегли так основательно, что он понял всю невозможность вырваться на свободу, и месть его заключалась только в том, что он всячески поносил и проклинал Мазарини.

Он даже попробовал было сочинять на него стихи, но скоро принужден был отказаться от этого. В самом деле, г-н де Бофор не только не обладал поэтическим даром, но даже и прозой изъяснялся с величайшим трудом. Недаром Бло, известный сочинитель сатирических песенок того времени, сказал про него:

Гремит он и сверкает в сече,
Своим врагам внушая страх;
Когда ж его мы слышим речи,
У всех усмешка на устах.

Гастон к сраженьям непривычен,
Зато слова ему легки.
Зачем Бофор косноязычен?
Зачем Гастон лишен руки?

После этого понятно, почему Бофор ограничивался только бранью и проклятиями.

Герцог Бофор был внук Генриха IV и Габриэли д'Эстре, такой же добрый, храбрый и горячий, а главное, такой же гасконец, как его дед, но далеко не такой образованный. После смерти Людовика XIII он был некоторое время любимцем и доверенным лицом королевы и играл первую роль при дворе; но в один прекрасный день ему пришлось уступить первое место Мазарини и перейти на второе. А на другой день, так как он был настолько неблагодарен, что рассердился, и настолько неосторожен, что высказал громко свое неудовольствие, королева велела арестовать его и отправить в Венсен, что и было поручено Гито, тому самому Гито, с которым читатель познакомился в начале нашей повести и с которым он будет иметь случай еще встретиться. Само собой разумеется, что, говоря «королева», мы хотим сказать «Мазарини». Таким образом не только избавились от Бофора и его притязаний, но и совсем перестали считаться с ним, невзирая на его былую популярность, и вот он уже шестой год жил в Венсенском замке, в комнате, весьма мало подходящей для принца.

Эти долгие годы, в течение которых мог бы одуматься всякий другой человек, нисколько не повлияли на Бофора. В самом деле, всякий другой сообразил бы, что если бы он не упорствовал в своем намерении тягаться с кардиналом, пренебрегать принцами и действовать в одиночку, без помощников, за исключением – по выражению кардинала де Реца – нескольких меланхоликов, похожих на пустых мечтателей, то уж давно сумел бы либо выйти на свободу, либо приобрести сторонников. Но ничего подобного не приходило в голову герцогу Бофору. Долгое заключение только еще больше озлобило его против Мазарини, который получал о нем ежедневно не слишком приятные для себя известия.

Потерпев неудачу в стихотворстве, Бофор обратился к живописи и нарисовал углем на стене портрет кардинала. Но так как его художественный талант был весьма невелик и не поз-

волял ему достигнуть большого сходства, то он, во избежание всяких сомнений относительно оригинала, подписал внизу: «Ritratto dell'illustrissimo facchino Mazarini».¹¹

Когда г-ну де Шавиньи доложили об этом, он явился с визитом к герцогу и попросил его выбрать себе какое-нибудь другое занятие или по крайней мере рисовать портреты, не делая под ними подписей. На другой же день все стены в комнате были испещрены и подписями и портретами. Герцог Бофор, как, впрочем, и все заключенные, был похож на ребенка, которого всегда тянет к тому, что ему запрещают.

Г-ну де Шавиньи доложили о приросте профилей. Недостаточно доверяя своему умению и не пытаясь рисовать лицо анфас, Бофор не поспешил на профили и превратил свою комнату в настоящую портретную галерею. На этот раз комендант промолчал; но однажды, когда герцог играл во дворе в мяч, он велел стереть все рисунки и заново побелить стены.

Бофор благодарил Шавиньи за внимательность, с какой тот позаботился приготовить ему побольше места для рисования. На этот раз он разделил комнату на несколько частей и каждую из них посвятил какому-нибудь эпизоду из жизни Мазарини.

Первая картина должна была изображать светлейшего негодяя Мазарини под градом палочных ударов кардинала Бентиволио, у которого он был лакеем.

Вторая – светлейшего негодяя Мазарини, играющего роль Игнатия Лойолы в трагедии того же имени.

Третья – светлейшего негодяя Мазарини, крадущего портфель первого министра у Шавиньи, который вообразил, что уже держит его в своих руках.

Наконец, четвертая – светлейшего негодяя Мазарини, отказывающегося выдать чистые простыни камердинеру Людовика XIV Ла Порту, потому что французскому королю достаточно менять простыни раз в три месяца.

Эти картины были задуманы слишком широко, совсем не по скромному таланту художника. А потому он пока ограничился только тем, что наметил рамки и сделал подписи.

Но для того чтобы вызвать раздражение со стороны г-на де Шавиньи, достаточно было и одних рамок с подписями. Он велел предупредить заключенного, что если тот не откажется от мысли рисовать задуманные им картины, то он отнимет у него всякую возможность работать над ними. Бофор ответил, что, не имея средств стяжать себе военную славу, он хочет прославиться как художник. За невозможностью сделаться Баярдом или Трибульцием он желает стать вторым Рафаэлем или Микеланджело.

Но в один прекрасный день, когда г-н де Бофор гулял в тюремном дворе, из его комнаты были вынесены дрова, и не только дрова, но и угли, и не только угли, но даже зола, так что, вернувшись, он не нашел решительно ничего, что могло бы заменить ему карандаш.

Герцог ругался, проклинал, бушевал, кричал, что его хотят уморить холодом и сыростью, как уморили Пюилоранса, маршала Орнано и великого приора Вандомского. На это Шавиньи ответил, что герцогу стоит только дать слово бросить живопись или по крайней мере обещать не рисовать исторических картин, и ему сию же минуту принесут дрова и все необходимое для топки. Но герцог не пожелал дать этого слова и провел остаток зимы в нетопленной комнате.

Более того, однажды, когда Бофор отправился на прогулку, все его надписи соскоблили, и комната стала белой и чистой, а от фресок не осталось и следа.

Тогда герцог купил у одного из сторожей собаку по имени Писташ. Так как заключенным не запрещалось иметь собак, то Шавиньи разрешил, чтобы собака перешла во владение другого хозяина. Герцог по целым часам сидел с ней взаперти. Подозревали, что он занимается ее обучением, но никто не знал, чему он ее учит. Наконец, когда собака была достаточно выдрессирована, г-н де Бофор пригласил г-на де Шавиньи и других должностных лиц Венсена на представление, которое намеревался дать в своей комнате. Приглашенные явились. Комната

¹¹ Портрет светлейшего негодяя Мазарини (*ит.*).

была ярко освещена; герцог зажег все свечи, какие только ему удалось раздобыть. Спектакль начался.

Заклоченный выломил из стены кусок штукатурки и провел им по полу длинную черту, которая должна была изображать веревку. Писташ, по первому слову хозяина, встал около черты, поднялся на задние лапы и, держа в передних камышинку, пошел по черте, кривляясь, как настоящий канатный плясун. Пройдя раза два-три взад и вперед, он отдал палку герцогу и проделал то же самое без балансира.

Умную собаку наградили рукоплесканиями.

Представление состояло из трех отделений. Первое кончилось, началось второе.

Теперь Писташ должен был ответить на вопрос: который час?

Шавиньи показал ему свои часы. Было половина седьмого. Писташ шесть раз поднял и опустил лапу, затем в седьмой раз поднял ее и удержал на весу. Ответить яснее было невозможно: и солнечные часы не могли бы показать время точнее. У них к тому же, как всем известно, есть один большой недостаток: по ним ничего не узнаешь, когда не светит солнце.

Затем Писташ должен был объявить всему обществу, кто лучший тюремщик во Франции.

Собака обошла три раза всех присутствующих и почтительнейше улеглась у ног Шавиньи.

Тот сделал вид, что находит шутку прелестной, и посмеялся сквозь зубы, а кончив смеяться, закусил губы и нахмурил брови.

Наконец герцог задал Писташу очень мудреный вопрос: кто величайший вор на свете?

Писташ обошел комнату и, не останавливаясь ни перед кем из присутствующих, подбежал к двери и с жалобным воем стал в нее царапаться.

– Видите, господа, – сказал герцог. – Это изумительное животное, не найдя здесь того, о ком я его спрашиваю, хочет выйти из комнаты. Но будьте покойны, вы все-таки получите ответ. Писташ, друг мой, – продолжал герцог, – подойдите ко мне.

Собака повиновалась.

– Так кто же величайший вор на свете? Уж не королевский ли секретарь Ле Камю, который явился в Париж с двадцатью ливрами, а теперь имеет десять миллионов?

Собака отрицательно мотнула головой.

– Тогда, быть может, министр финансов Эмери, подаривший своему сыну, господину Торе, к свадьбе ренту в триста тысяч ливров и дом, по сравнению с которым Тюильри – шалаш, а Лувр – лачуга?

Собака отрицательно мотнула головой.

– Значит, не он, – продолжал герцог. – Ну, поищем еще. Уж не светлейший ли это негодяй Мазарини ди Пишина, скажи-ка!

Писташ с десяток раз поднял и опустил голову, что должно было означать «да».

– Вы видите, господа, – сказал герцог, обращаясь к присутствующим, которые на этот раз не осмелились усмехнуться даже криво, – вы видите, что величайшим вором на свете оказался светлейший негодяй Мазарини ди Пишина. Так по крайней мере уверяет Писташ.

Представление продолжалось.

– Вы, конечно, знаете, господа, – продолжал де Бофор, пользуясь гробовым молчанием, чтобы объявить программу третьего отделения, – что герцог де Гиз выучил всех парижских собак прыгать через палку в честь госпожи де Понс, которую провозгласил первой красавицей в мире. Так вот, господа, это пустяки, потому что собаки не умели делать разделения (г-н де Бофор хотел сказать «различия») между той, ради кого надо прыгать, и той, ради кого не надо. Писташ сейчас докажет господину коменданту, равно как и всем вам, господа, что он стоит несравненно выше своих собратьев. Одолжите мне, пожалуйста, вашу тросточку, господин де Шавиньи.

Шавиньи подал трость г-ну де Бофору.

Бофор сказал, держа трость горизонтально на фут от земли:

– Писташ, друг мой, будьте добры прыгнуть в честь госпожи де Монбазон.

Все рассмеялись: было известно, что перед своим заключением герцог де Бофор открыто состоял любовником г-жи де Монбазон.

Писташ без всяких затруднений весело перескочил через палку.

– Но Писташ, как мне кажется, делает то же самое, что и его собратья, прыгавшие в честь госпожи де Понс, – заметил Шавиньи.

– Погодите, – сказал де Бофор. – Писташ, друг мой, прыгните в честь королевы!

И он поднял трость дюймов на шесть выше.

Собака почтительно перескочила через нее.

– Писташ, друг мой, – сказал герцог, поднимая трость еще на шесть дюймов, – прыгните в честь короля!

Собака разбежалась и, несмотря на то что трость была довольно высоко от полу, легко перепрыгнула через нее.

– Теперь внимание, господа! – продолжал герцог, опуская трость чуть не до самого пола. –

Писташ, друг мой, прыгните в честь светлейшего негодяя Мазарини ди Пишина.

Собака повернулась задом к трости.

– Что это значит? – сказал герцог, обходя собаку и снова подставляя ей тросточку. – Прыгайте же, господин Писташ!

Но собака снова сделала полуоборот и стала задом к трости.

Герцог проделал тот же маневр и повторил свое приказание. Но на этот раз Писташ вышел из терпения. Он яростно бросился на трость, вырвал ее из рук герцога и перегрыз пополам.

Бофор взял из его пасти обломки и с самым серьезным видом подал их г-ну де Шавиньи, рассыпаясь в извинениях и говоря, что представление окончено, но что месяца через три, если ему угодно будет посетить представление, Писташ выучится новым штукам.

Через три дня собаку отравили.

Искали виновного, но, конечно, так и не нашли.

Бофор велел воздвигнуть на могиле собаки памятник с надписью:

ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ ПИСТАШ,

САМАЯ УМНАЯ

ИЗ ВСЕХ СОБАК НА СВЕТЕ.

Против такой хвалы возразить было нечего, и Шавиньи не протестовал.

Тогда герцог стал говорить во всеуслышание, что на его собаке проверяли яд, приготовленный для него самого; и однажды, после обеда, кинулся в постель, крича, что у него колики и что Мазарини велел его отравить.

Узнав об этой новой проделке Бофора, кардинал страшно перепугался. Венсенская крепость считалась очень нездоровым местом: г-жа де Рамбулье сказала как-то, что камера, в которой умерли Пюилоранс, маршал Орнано и великий приор Вандомский, ценится на вес мышьяка, и эти слова повторялись на все лады. А потому Мазарини распорядился, чтобы кушанья и вино, которые подавались заключенному, предварительно пробовались при нем. Вот тогда-то и приставили к герцогу офицера Ла Раме в качестве дегустатора.

Комендант, однако, не простил герцогу его дерзостей, за которые уже заплатился ни в чем не повинный Писташ. Шавиньи был любимцем покойного кардинала; уверяли даже, что он его сын, а потому притеснять умел на славу. Он начал мстить Бофору и прежде всего велел заменить его серебряные вилки деревянными, а стальные ножи – серебряными. Бофор выказал ему свое неудовольствие. Шавиньи велел ему передать, что так как кардинал на днях сообщил г-же де Вандом, что ее сын заключен в замок пожизненно, то он, Шавиньи, боится, как бы герцог, узнав эту горестную новость, не вздумал посягнуть на свою жизнь. Недели через две после этого Бофор увидел, что дорога к тому месту, где он играл в мяч, усажена двумя рядами веток толщиной в мизинец. Когда он спросил, для чего их насадили, ему ответили, что здесь когда-нибудь разрастутся для него тенистые деревья. Наконец, раз утром к Бофору пришел садовник и, как бы желая обрадовать его, объявил, что посадил для него спаржу. Спаржа, как известно, вырастает даже теперь через четыре года, а в те времена, когда садоводство было менее совершенным, на это требовалось пять лет. Такая любезность привела герцога в ярость.

Он пришел к заключению, что для него наступила пора прибегнуть к одному из своих сорока способов бегства из тюрьмы, и выбрал для начала самый простой из них – подкуп Ла Раме. Но Ла Раме, заплативший за свой офицерский чин полторы тысячи экю, очень дорожил им. А потому, вместо того чтобы помочь заключенному, он кинулся с докладом к Шавиньи, и тот немедленно распорядился удвоить число часовых, утроить посты и поместить восемь сторожей в комнате Бофора. С этих пор герцог ходил со свитой, как театральный король на сцене: четыре человека впереди и четыре позади, не считая замыкающих.

Вначале Бофор смеялся над этой строгостью: она забавляла его. «Это преуморительно, – говорил он, – это меня разнообразит (г-н де Бофор хотел сказать: „меня развлекает“, но, как мы уже знаем, он говорил не всегда то, что хотел сказать). К тому же, – добавлял он, – когда мне наскучат все эти почести и я захочу избавиться от них, то пушу в ход один из оставшихся тридцати девяти способов».

Но скоро это развлечение стало для него мукой. Из бахвальства он выдерживал характер с полгода; но в конце концов, постоянно видя возле себя восемь человек, которые садились, когда он садился, вставали, когда он вставал, останавливались, когда он останавливался, герцог начал хмуриться и считать дни.

Это новое стеснение еще усилило ненависть герцога к Мазарини. Он проклинал его с утра до ночи и твердил, что обрежет ему уши. Положительно, страшно было слушать его. И Мазарини, которому доносили обо всем, происходившем в Венсене, невольно поглубже натягивал свою кардинальскую шапку.

Раз герцог собрал всех сторожей и, несмотря на свое неумение выражаться толково и связно (неумение, вошедшее даже в поговорку), обратился к ним с речью, которая, сказать правду, была приготовлена заранее.

– Господа! – сказал он. – Неужели вы потерпите, чтобы оскорбляли и подвергали низостям (он хотел сказать: «унижениям») внука доброго короля Генриха Четвертого? Черт р-раздери, как говаривал мой дед. Знаете ли вы, что я почти царствовал в Париже? Под моей охраной находились в течение целого дня король и герцог Орлеанский. Королева в те времена была очень милостива ко мне и называла меня честнейшим человеком в государстве. Теперь, господа, выпустите меня на свободу. Я пойду в Лувр, сверну шею Мазарини, а вас сделаю своими гвардейцами, произведу всех в офицеры и назначу хорошее жалованье. Черт р-раздери! Вперед, марш!

Но как ни трогательно было красноречие внука Генриха IV, оно не тронуло эти каменные сердца. Никто из сторожей и не шелохнулся. Тогда Бофор обозвал их болванами и сделал их всех своими смертельными врагами.

Всякий раз, когда Шавиньи приходил к герцогу, – а он являлся к нему раза два-три в неделю, – тот не упускал случая пострадать его.

– Что сделаете вы, – говорил он, – если в один прекрасный день сюда явится армия законных в железо и вооруженных мушкетами парижан, чтобы освободить меня?

– Ваше высочество, – отвечал с низким поклоном Шавиньи, – у меня на валу двадцать пушек, а в казематах тридцать тысяч зарядов. Я постараюсь стрелять как можно лучше.

– А когда вы выпустите все свои заряды, они все-таки возьмут крепость, и мне придется разрешить им повесить вас, что мне, конечно, будет крайне прискорбно.

И герцог, в свою очередь, отвешивал самый изысканный поклон.

– А я, ваше высочество, – возражал Шавиньи, – как только первый из этих бездельников взберется на вал или ступит в подземный ход, буду принужден, к моему величайшему сожалению, собственноручно убить вас, так как вы поручены моему особому надзору и я обязан сохранить вас живого или мертвого.

Тут он снова кланялся его светлости.

– Да, – продолжал герцог. – Но так как эти молодцы, собираясь идти сюда, предварительно, конечно, вздернут на виселицу Джулио Мазарини, то вы не посмеете ко мне прикоснуться и оставите меня в живых из страха, как бы парижане не привязали вас за руки и за ноги к четверке лошадей и не разорвали на части, что будет, пожалуй, еще похуже виселицы.

Такие кисло-сладкие шуточки продолжались минут десять, четверть часа, самое большее двадцать минут. Но заканчивался разговор всегда одинаково.

– Эй, Ла Раме! – кричал Шавиньи, обернувшись к двери.

Ла Раме входил.

– Поручаю вашему особому вниманию герцога де Бофора, Ла Раме, – говорил Шавиньи. – Обращайтесь с ним со всем уважением, приличествующим его имени и высокому сану, и потому ни на минуту не теряйте его из виду.

И он удалялся с ироническим поклоном, приводившим герцога в страшную ярость.

Таким образом, Ла Раме сделался непременным собеседником герцога, его бессменным стражем, его тенью. Но надо сказать, что общество Ла Раме, разбитного малого, веселого собеседника и собутыльника, прекрасного игрока в мяч и, в сущности, славного парня, имевшего, с точки зрения г-на де Бофора, только один серьезный недостаток – неподкупность, вовсе не стесняло герцога и даже служило ему развлечением.

К несчастью, сам Ла Раме относился к этому иначе. Хоть он и ценил честь сидеть взаперти с таким важным узником, но удовольствие иметь своим приятелем внука Генриха IV все-таки не могло заменить ему удовольствие навещать от времени до времени свою семью.

Можно быть прекрасным слугой короля и в то же время хорошим мужем и отцом. А Ла Раме горячо любил свою жену и детей, которых видел только с крепостных стен, когда они, желая доставить ему утешение как отцу и супругу, прохаживались по ту сторону рва. Этого, конечно, было слишком мало, и Ла Раме чувствовал, что его жизнерадостности (которую он привык считать причиной своего прекрасного здоровья, не задумываясь над тем, что она скорее являлась его следствием) хватит ненадолго при таком образе жизни. Когда же отношения между герцогом и Шавиньи обострились до того, что они совсем перестали видеться, Ла Раме пришел в отчаяние: теперь вся ответственность за Бофора легла на него одного. А так как ему, как мы говорили, хотелось иметь хоть изредка свободный денек, то он с восторгом отнесся к предложению своего приятеля, управителя маршала Граммона, порекомендовать ему помощника. Шавиньи, к которому Ла Раме обратился за разрешением, сказал, что охотно даст его, если, разумеется, кандидат окажется подходящим.

Мы считаем излишним описывать читателям наружность и характер Гримо. Если, как мы надеемся, они не забыли первой части нашей истории, у них, наверное, сохранилось довольно ясное представление об этом достойном человеке, который изменился только тем, что постарел на двадцать лет и благодаря этому стал еще угрюмее и молчаливее. Хотя Атос, с тех пор как в нем совершилась перемена, и позволил Гримо говорить, но тот, объяснявшийся знаками в

течение десяти или пятнадцати лет, так привык к молчанию, что эта привычка стала его второй натурой.

Глава XX

Гримо поступает на службу

Итак, обладающий столь благоприятной внешностью Гримо явился в Венсенскую крепость. Шавиньи мнил себя непогрешимым в умении распознавать людей, и это могло, пожалуй, служить доказательством, что он действительно был сыном Ришелье, который тоже считал себя знатоком в этих делах. Он внимательно осмотрел просителя и пришел к заключению, что сросшиеся брови, тонкие губы, крючковатый нос и выдающиеся скулы Гримо свидетельствуют как нельзя больше в его пользу. Расспрашивая его, Шавиньи произнес двенадцать слов; Гримо отвечал всего четырем.

– Вот разумный малый, я это сразу заметил, – сказал Шавиньи. – Ступайте теперь к господину Ла Раме и постарайтесь заслужить его одобрение. Можете сказать ему, что я нахожу вас подходящим во всех отношениях.

Гримо повернулся на каблуках и отправился к Ла Раме, чтобы подвергнуться более строгому осмотру. Понравиться Ла Раме было гораздо труднее. Как Шавиньи всецело полагался на Ла Раме, так и последнему хотелось найти человека, на которого мог бы положиться он сам.

Но Гримо обладал как раз всеми качествами, которыми можно прельстить тюремного надзирателя, выбирающего себе помощника. И в конце концов после множества вопросов, на которые было дано вчетверо меньше ответов, Ла Раме, восхищенный такой умеренностью в словах, весело потер себе руки и принял Гримо на службу.

– Предписания? – спросил Гримо.

– Вот: никогда не оставлять заключенного одного, отбирать у него все колющее или режущее, не позволять ему подавать знаки посторонним лицам или слишком долго разговаривать со сторожами.

– Все? – спросил Гримо.

– Пока все, – ответил Ла Раме. – Изменятся обстоятельства, изменятся и предписания.

– Хорошо, – сказал Гримо.

И он вошел к герцогу де Бофору.

Тот в это время причесывался. Желая досадить Мазарини, он не стриг волос и отпустил бороду, выставя напоказ, как ему худо живется и как он несчастен. Но несколько дней тому назад, глядя с высокой башни, он как будто разобрал в окне проезжавшей мимо кареты черты прекрасной г-жи де Монбазон, память о которой была ему все еще дорога. И так как ему хотелось произвести на нее совсем другое впечатление, чем на Мазарини, то он, в надежде еще раз увидеть ее, велел подать себе свинцовую гребенку, что и было исполнено.

Г-н де Бофор потребовал именно свинцовую гребенку, потому что у него, как и у всех блондинов, борода была несколько рыжевата: расчесывая, он ее одновременно красил.

Гримо, войдя к нему, увидел гребенку, которую герцог только что положил на стол; Гримо низко поклонился и взял ее.

Герцог с удивлением взглянул на эту странную фигуру.

Фигура положила гребенку в карман.

– Эй, там! Кто-нибудь! Что это значит? – крикнул Бофор. – Откуда взялся этот дурень?

Гримо, не отвечая, еще раз поклонился.

– Немой ты, что ли? – закричал герцог.

Гримо отрицательно покачал головой.

– Кто же ты? Отвечай сейчас! Я приказываю!

– Сторож, – сказал Гримо.

– Сторож! – повторил герцог. – Только такого висельника и недоставало в моей коллекции! Эй! Ла Раме... кто-нибудь!

Ла Раме торопливо вошел в комнату. К несчастью для герцога, Ла Раме, вполне полагаясь на Гримо, собрался ехать в Париж; он был уже во дворе и вернулся с большим неудовольствием.

– Что случилось, ваше высочество? – спросил он.

– Что это за бездельник? Зачем он взял мою гребенку и положил к себе в карман? – спросил де Бофор.

– Он один из ваших сторожей, ваше высочество, и очень достойный человек. Надеюсь, вы оцените его так же, как и господин де Шавиньи...

– Зачем он взял у меня гребенку?

– В самом деле, с какой стати взяли вы гребенку у его высочества? – спросил Ла Раме.

Гримо вынул из кармана гребенку, провел по ней пальцами и, указывая на крайний зубец, ответил только:

– Колет.

– Верно, – сказал Ла Раме.

– Что говорит эта скотина? – спросил герцог.

– Что король не разрешил давать вашему высочеству острые предметы.

– Что вы, с ума сошли, Ла Раме? Ведь вы же сами принесли мне эту гребенку.

– И напрасно. Давая ее вам, я сам нарушил свой приказ.

Герцог в бешенстве поглядел на Гримо, который отдал гребенку Ла Раме.

– Я чувствую, что сильно возненавижу этого мошенника, – пробормотал де Бофор.

Действительно, в тюрьме всякое чувство доходит до крайности. Ведь там всё – и люди и вещи – либо враги наши, либо друзья, поэтому там или любят, или ненавидят, иногда имея основания, а чаще инстинктивно. Итак, по той простой причине, что Гримо с первого взгляда понравился Шавиньи и Ла Раме, он должен был не понравиться Бофору, ибо достоинства, которыми он обладал в глазах коменданта и надзирателя, были недостатками в глазах узника.

Однако Гримо не хотел с первого дня ссориться с заключенным: ему нужны были не гневные вспышки со стороны герцога, а упорная, длительная ненависть.

И он удалился, уступив свое место четырем сторожам, которые, покончив с завтраком, вернулись караулить узника.

Герцог, со своей стороны, готовил новую проделку, на которую очень рассчитывал. На следующий день он заказал к завтраку раков и хотел соорудить к этому времени в своей комнате маленькую виселицу, чтобы повесить на ней самого лучшего рака. По красному цвету вареного рака всякий поймет намек, и герцог будет иметь удовольствие произвести заочную казнь над кардиналом, пока не явится возможность повесить его в действительности. При этом герцога можно будет упрекнуть разве лишь в том, что он повесил рака.

Целый день де Бофор занимался приготовлениями к казни. В тюрьме каждый становится ребенком, а герцог больше, чем кто-либо другой, был склонен к этому. Во время своей обычной прогулки он сломал нужные ему две-три тоненькие веточки и после долгих поисков нашел осколок стекла, – находка, доставившая ему большое удовольствие, – а вернувшись к себе, выдернул несколько ниток из носового платка.

Ни одна из этих подробностей не ускользнула от пронизательного взгляда Гримо.

На другой день утром виселица была готова, и, чтобы установить ее на полу, герцог стал обстругивать ее нижний конец своим осколком.

Ла Раме следил за ним с любопытством отца семейства, рассчитывающего увидеть забаву, которой впоследствии можно будет потешить детей, а четыре сторожа – с тем праздным видом, какой во все времена служил и служит отличительным признаком солдата.

Гримо вошел в ту минуту, когда герцог, еще не совсем обстругав конец своей виселицы, отложил стекло и стал привязывать к перекладине нитку.

Он бросил на вошедшего Гримо быстрый взгляд, в котором еще было заметно вчерашнее неудовольствие, но тотчас же вернулся к своей работе, заранее наслаждаясь впечатлением, какое произведет его новая выдумка.

Сделав на одном конце нитки мертвую петлю, а на другом скользящую, герцог осмотрел раков, выбрал на глаз самого великолепного и обернулся, чтобы взять стекло.

Стекло исчезло.

– Кто взял мое стекло? – спросил герцог, нахмутив брови.

Гримо показал на себя.

– Как, опять ты? – воскликнул герцог. – Зачем же ты взял его?

– Да, – спросил Ла Раме, – зачем вы взяли стекло у его высочества?

Гримо провел пальцем по стеклу и ограничился одним словом:

– Режет!

– А ведь он прав, монсеньор, – сказал Ла Раме. – Ах, черт возьми! Да этому парню цены нет!

– Господин Гримо, прошу вас, в ваших собственных интересах, держаться от меня на таком расстоянии, чтобы я не мог вас достать рукой, – сказал герцог.

Гримо поклонился и отошел в дальний угол комнаты.

– Полноте, полноте, монсеньор! – сказал Ла Раме. – Дайте мне вашу виселицу, и я обстругаю ее своим ножом.

– Вы? – со смехом спросил герцог.

– Да, я. Ведь это вы и хотели сделать?

– Конечно. Извольте, мой милый Ла Раме. Это выйдет еще забавнее.

Ла Раме, не понявший восклицания герцога, самым тщательным образом обстругал ножку виселицы.

– Отлично, – сказал герцог. – Теперь просверлите дырочку в полу, а я приготовлю преступника.

Ла Раме опустил на одно колено и стал ковырять пол.

Герцог в это время повесил рака на нитку. Потом он с громким смехом водрузил виселицу посреди комнаты.

Ла Раме тоже от души смеялся, сам не зная чему, и сторожа вторили ему. Не смеялся один только Гримо. Он подошел к Ла Раме и, указывая на рака, крутившегося на нитке, сказал:

– Кардинал?

– Повешенный его высочеством герцогом де Бофором, – подхватил герцог, хохоча еще громче, – и королевским офицером Жаком-Кризостомом Ла Раме!

Ла Раме с криком ужаса бросился к виселице, вырвал ее из пола и, разломав на мелкие кусочки, выбросил в окно. Второпях он чуть не бросил туда же и рака, но Гримо взял его у него из рук.

– Можно съесть, – сказал он, кладя рака себе в карман.

Вся эта сцена доставила герцогу такое удовольствие, что он почти простил Гримо роль, которую тот в ней сыграл. Но затем, подумав хорошенько о намерениях, которые побудили сторожа так поступить, и признав их дурными, он проникся к нему еще большей ненавистью.

К величайшему огорчению Ла Раме, история эта получила огласку не только в самой крепости, но и за ее пределами.

Г-н де Шавиньи, в глубине души ненавидевший кардинала, считал долгом рассказать этот забавный случай двум-трем благонамеренным своим приятелям, а те его немедленно разгласили.

Благодаря этому герцог чувствовал себя вполне счастливым в течение нескольких дней.

Между тем герцог усмотрел среди своих сторожей человека с довольно добродушным лицом и принялся его задабривать, тем более что Гримо он ненавидел с каждым днем все

больше. Однажды поутру герцог, случайно оставшись наедине с этим сторожем, начал разговаривать с ним, как вдруг вошел Гримо, поглядел на собеседников, затем почтительно подошел к ним и взял сторожа за руку.

– Что вам от меня нужно? – резко спросил герцог.

Гримо отвел сторожа в сторону и указал ему на дверь.

– Ступайте! – сказал он.

Сторож повиновался.

– Вы несносны! – воскликнул герцог. – Я вас проучу!

Гримо почтительно поклонился.

– Господин шпион, я переломаю вам все кости! – закричал разгневанный герцог.

Гримо снова наклонился и отступил на несколько шагов.

– Господин шпион! Я задушу вас собственными руками!

Гримо с новым поклоном сделал еще несколько шагов назад.

– И сейчас же... сию же минуту! – воскликнул герцог, находя, что лучше покончить разом.

Он бросился, сжав кулаки, к Гримо, который поспешно вытолкнул сторожа и запер за ним дверь.

В ту же минуту руки герцога тяжело опустились на его плечи и сжали их, как тиски. Но Гримо, вместо того чтобы сопротивляться или позвать на помощь, неторопливо приложил палец к губам и с самой приятной улыбкой произнес вполголоса:

– Тсс!

Улыбка, жест и слово были такой редкостью у Гримо, что его высочество от изумления замер на месте.

Гримо поспешил воспользоваться этим. Он вытащил из-за подкладки своей куртки изящный конверт с печатью, который даже после долгого пребывания под одеждой г-на Гримо не окончательно утратил свой первоначальный аромат, и, не произнеся ни слова, подал его герцогу.

Пораженный еще более, герцог выпустил Гримо и взял письмо.

– От госпожи де Монбазон! – вскричал он, узнав знакомый почерк.

Гримо кивнул головой.

Герцог, совершенно ошеломленный, провел рукой по глазам, поспешно разорвал конверт и прочитал письмо:

«Дорогой герцог!

Вы можете вполне довериться честному человеку, который передаст вам мое письмо. Это слуга одного из наших сторонников, который ручается за него, так как испытал его верность в течение двадцатилетней службы. Он согласился поступить помощником к надзирателю, приставленному к вам, для того, чтобы подготовить и облегчить ваш побег из Венсенской крепости, который мы затеваем.

Час вашего освобождения близится. Ободритесь же и будьте терпеливы. Знайте, что друзья ваши, несмотря на долгую разлуку, сохранили к вам прежние чувства.

*Ваша неизменно преданная вам
Мария де Монбазон.*

Подписываюсь полным именем. Было бы слишком самоуверенно с моей стороны думать, что вы разгадаете после пятилетней разлуки мои инициалы».

Герцог с минуту стоял совершенно потрясенный. Пять лет тщетно искал он друга и помощника, и наконец, в ту минуту, когда он меньше всего ожидал этого, помощник свалился к нему точно с неба. Он с удивлением взглянул на Гримо и еще раз перечел письмо.

– Милая Мария! – прошептал он. – Значит, я не ошибся, это действительно она проезжала в карете. И она не забыла меня после пятилетней разлуки! Черт возьми! Такое постоянство встречаешь только на страницах «Астреи». Итак, ты согласен помочь мне, мой милый? – прибавил он, обращаясь к Гримо.

Тот кивнул головою.

– И для этого ты и поступил сюда?

Гримо кивнул еще раз.

– А я-то хотел задушить тебя! – воскликнул герцог.

Гримо улыбнулся.

– Но погоди-ка! – сказал герцог.

И он сунул руку в карман.

– погоди! – повторял он, тщетно шаря по всем карманам. – Такая преданность внуку Генриха Четвертого не должна остаться без награды.

У герцога Бофора было, очевидно, прекрасное намерение, но в Венсене у заключенных предусмотрительно отбирались все деньги.

Видя смущение герцога, Гримо вынул из кармана набитый золотом кошелек и подал ему.

– Вот что вы ищите, – сказал он.

Герцог открыл кошелек и хотел было высыпать все золото в руки Гримо, но тот остановил его.

– Благодарю вас, монсеньор, – сказал он, – мне уже заплачено.

Герцогу оставалось только еще более изумиться. Он протянул Гримо руку. Тот подошел и почтительно поцеловал ее. Аристократические манеры Атоса отчасти перешли к Гримо.

– А теперь что мы будем делать? – спросил герцог. – С чего начнем?

– Сейчас одиннадцать часов утра, – сказал Гримо. – В два часа пополудни ваше высочество выразит желание сыграть партию в мяч с господином Ла Раме и забросит два-три мяча через вал.

– Хорошо. А дальше?

– Дальше ваше высочество подойдет к крепостной стене и крикнет человеку, который будет работать во рву, чтобы он бросил вам мяч обратно.

– Понимаю, – сказал герцог.

Лицо Гримо просияло. С непривычки ему было трудно говорить.

Он двинулся к двери.

– Постой! – сказал герцог. – Так ты ничего не хочешь?

– Я бы попросил ваше высочество дать мне одно обещание.

– Какое? Говори.

– Когда мы будем спасаться бегством, я везде и всегда буду идти впереди. Если поймают вас, монсеньор, то дело ограничится только тем, что вас снова посадят в крепость; если же попадусь я, меня самое меньшее повесят.

– Ты прав, – сказал герцог. – Будет по-твоему – слово дворянина!

– А теперь я попрошу вас, монсеньор, только об одном: сделайте мне честь ненавидеть меня по-прежнему.

– Постараюсь, – ответил герцог.

В дверь постучались.

Герцог положил письмо и кошелек в карман и бросился на постель: все знали, что он делал это, когда на него нападала тоска. Гримо отпер дверь. Вошел Ла Раме, только что вернувшийся от кардинала после описанного нами разговора.

Бросив вокруг себя пыливый взгляд, Ла Раме удовлетворенно улыбнулся: отношения между заключенным и его сторожем, по-видимому, нисколько не изменились к лучшему.

– Прекрасно, прекрасно, – сказал Ла Раме, обращаясь к Гримо. – А я только что говорил о вас в одном месте. Надеюсь, что вы скоро получите известия, которые не будут вам неприятны.

Гримо поклонился, стараясь выразить благодарность, и вышел из комнаты, что делал всегда, когда являлся его начальник.

– Вы, кажется, все еще сердитесь на бедного парня, монсеньор? – спросил Ла Раме с громким смехом.

– Ах, это вы, Ла Раме? – воскликнул герцог. – Давно пора! Я уже лег на кровать и повернулся носом к стене, чтобы не поддаваться искушению выполнить свое обещание и не свернуть шею этому негодяю Гримо.

– Не думаю, однако, чтобы он сказал что-нибудь неприятное вашему высочеству? – спросил Ла Раме, тонко намекая на молчаливость своего помощника.

– Еще бы, черт возьми! Немой эфиоп! Ей-богу, вы вернулись как раз вовремя, Ла Раме. Мне не терпелось вас увидеть!

– Вы слишком добры ко мне, монсеньор, – сказал Ла Раме, польщенный его словами.

– Нисколько. Кстати, я сегодня чувствую себя очень неловким, что, конечно, будет вам на руку.

– Разве мы будем играть в мяч? – вырвалось у Ла Раме.

– Если вы ничего не имеете против.

– Я всегда к услугам вашего высочества.

– Поистине вы очаровательный человек, Ла Раме, и я охотно остался бы в Венсене на всю жизнь, лишь бы не расставаться с вами.

– Во всяком случае, ваше высочество, – сказал Ла Раме, – не кардинал будет виноват, если ваше желание не исполнится.

– Как так? Вы виделись с ним?

– Он присылал за мной сегодня утром.

– Вот как! Чтобы потолковать обо мне?

– О чем же ему больше и говорить со мной? Вы мучите его, как кошмар, ваше высочество. Герцог горько улыбнулся.

– Ах, если бы вы согласились на мое предложение, Ла Раме! – сказал он.

– Полноте, полноте, ваше высочество. Вот вы опять заговариваете об этом. Видите, как вы неблагоприятны.

– Я уже говорил вам, – продолжал герцог, – и опять повторяю, что озолочу вас.

– Каким образом? Не успеете вы выйти из крепости, как все ваше имущество конфискуют.

– Не успею я выйти отсюда, как стану владыкой Парижа.

– Тише, тише! Ну, можно ли мне слушать подобные речи? Хорош разговор для королевского чиновника! Вижу, монсеньор, что придется мне завестись вторым Гримо.

– Ну хорошо, оставим это. Значит, ты толковал обо мне с кардиналом? В следующий раз, как он придет за тобой, позволь мне переодеться в твою одежду, Ла Раме. Я отправлюсь к нему вместо тебя, сверну ему шею и, честное слово, если ты поставишь это условием, вернусь назад в крепость.

– Видно, придется мне позвать Гримо, монсеньор, – сказал Ла Раме.

– Ну, не сердись. Так что же говорила тебе эта гнусная рожа?

– Я спущу вам это словечко, – сказал Ла Раме с хитрым видом, – потому что оно рифмуется со словом «вельможа». Что он мне говорил? Велел мне хорошенько стеречь вас.

– А почему надо сторожить меня? – с беспокойством спросил герцог.

– Потому что какой-то звездочет предсказал, что вы удерете.

- А, так звездочет предсказал это! – сказал герцог, невольно вздрогнув.
- Да, честное слово! Эти проклятые колдуны сами не знают, что выдумать, лишь бы пугать добрых людей.
- Что же отвечал ты светлейшему кардиналу?
- Что если этот звездочет составляет календари, то я не посоветовал бы его высокопреосвященству покупать их.
- Почему?
- Потому что спастись отсюда вам удастся только в том случае, если вы обратитесь в зяблика или королька.
- К несчастью, ты прав, Ла Раме. Ну, пойдем играть в мяч.
- Прошу извинения у вашего высочества, но мне бы хотелось отложить нашу игру на полчаса.
- А почему?
- Потому что Мазарини держит себя не так просто, как ваше высочество, хоть он и не такого знатного происхождения. Он позабыл пригласить меня к завтраку.
- Хочешь, я прикажу подать тебе завтрак сюда?
- Нет, не надо, монсеньор. Дело в том, что пирожник, живший напротив замка, по имени Марто...
- Ну?
- С неделю тому назад продал свое заведение парижскому кондитеру, которому доктора, кажется, посоветовали жить в деревне.
- Мне-то что за дело?
- Разрешите досказать, ваше высочество. У этого нового пирожника выставлены в окнах такие вкусные вещи, что просто слюнки текут.
- Ах ты, обжора!
- Боже мой, монсеньор! Человек, который любит хорошо поесть, еще не обжора. По самой своей природе человек ищет совершенства во всем, даже в пирожках. Так вот этот плут кондитер, увидав, что я остановился около его выставки, вышел ко мне, весь в муке, и говорит: «У меня к вам просьба, господин Ла Раме: доставьте мне, пожалуйста, покупателей из заключенных в крепости. Мой предшественник, Марто, уверял меня, что он был поставщиком всего замка, потому я и купил его заведение. А между тем я водворился здесь уже неделю назад, и, честное слово, господин Шавиньи не купил у меня до сих пор ни одного пирожка». «Должно быть, господин Шавиньи думает, что у вас пирожки невкусные», – сказал я. «Невкусные? Мои пирожки! – воскликнул он. – Будьте же сами судьей, господин Ла Раме. Зачем откладывать?» «Не могу, – сказал я, – мне необходимо вернуться в крепость». – «Хорошо, идите по вашим делам, вы, кажется, и впрямь торопитесь, но приходите через полчаса». – «Через полчаса?» – «Да. Вы уже завтракали?» – «И не думал». – «Так я приготовлю вам пирог и бутылку старого бургундского», – сказал он. Вы понимаете, монсеньор, я выехал натошак и, с позволения вашего высочества, я хотел... – Ла Раме поклонился.
- Ну ступай, скотина, – сказал герцог, – но помни, что я даю тебе только полчаса.
- А могу я обещать преемнику дядюшки Марто, что вы станете его покупателем?
- Да, но с условием, чтобы он не присылал мне пирожков с грибами. Ты знаешь ведь, что грибы Венсенского леса смертельны для нашей семьи.

Ла Раме сделал вид, что не понял намека, и вышел из комнаты. А пять минут спустя после его ухода явился караульный офицер, будто для того, чтобы не дать герцогу соскучиться, а на самом деле для того, чтобы, согласно приказанию кардинала, не терять из виду заключенного.

Но за пять минут, проведенных в одиночестве, герцог успел еще раз перечитать письмо г-жи де Монбазон, свидетельствовавшее, что друзья не забыли его и стараются его освободить. Каким образом? Он еще не знал этого и решил, несмотря на молчаливость Гримо, заставить

его разговаривать. Доверие, которое герцог чувствовал к нему, еще возросло, ибо он понял, почему тот вел себя так странно вначале. Очевидно, Гримо изобретал мелкие придирки с целью заглушить в тюремном начальстве всякое подозрение о возможности сговора между ним и заключенным.

Такая хитрая уловка создала у герцога высокое мнение об уме Гримо, и он решил вполне довериться ему.

Глава XXI

Какая была начинка в пирогах преемника дядюшки Марто

Ла Раме вернулся через полчаса, оживленный и веселый, как человек, который хорошо поел, а главное, хорошо выпил. Пирожки оказались великолепными, вино превосходным.

День был ясный, и предполагаемая партия в мяч могла состояться. В Венсенской крепости играли на открытом воздухе, и герцогу, исполняя совет Гримо, нетрудно было забросить несколько мячей в ров.

Впрочем, до двух часов – условленного срока – он играл еще довольно сносно. Но все же он проигрывал все партии, под этим предлогом прикинулся рассерженным, начал горячиться и, как всегда бывает в таких случаях, делал промах за промахом.

Как только пробило два часа, мячи посыпались в ров, к великой радости Ла Раме, который насчитывал себе по пятнадцати очков за каждый промах герцога.

Наконец промахи так участились, что стало не хватать мячей. Ла Раме предложил послать кого-нибудь за ними. Герцог весьма основательно заметил, что это будет лишняя трата времени, и, подойдя к краю стены, которая, как верно говорил кардиналу Ла Раме, имела не менее шестидесяти футов высоты, увидел какого-то человека, работавшего в одном из тех крошечных огородов, какие разводят крестьяне по краю рвов.

– Эй, приятель! – крикнул герцог.

Человек поднял голову, и герцог чуть не вскрикнул от удивления. Этот человек, этот крестьянин, этот огородник – был Рошфор, который, по мнению герцога, сидел в Бастилии.

– Ну, чего нужно? – спросил человек.

– Будьте любезны, перебросьте нам мячи.

Огородник кивнул головою и стал кидать мячи, которые затем подобрали сторожа и Ла Раме.

Один из этих мячей упал прямо к ногам герцога, и так как он, очевидно, предназначался ему, то он поднял его и положил в карман.

Потом, поблагодарив крестьянина, герцог продолжал игру.

Бофору в этот день решительно не везло. Мячи летали как попало и два или три из них снова упали в ров. Но так как огородник уже ушел и некому было перебрасывать их обратно, то они так и остались во рву. Герцог заявил, что ему стыдно за свою неловкость, и прекратил игру.

Ла Раме был в полном восторге: ему удалось обыграть принца королевской крови!

Вернувшись к себе, герцог лег в постель. Он пролеживал почти целые дни напролет с тех пор, как у него отобрали книги.

Ла Раме взял платье герцога под тем предлогом, что оно запачкалось и его нужно вычистить; на самом же деле он хотел быть уверенным, что заключенный не тронется с места. Вот до чего предусмотрителен был Ла Раме!

К счастью, герцог еще раньше вынул из кармана мяч и спрятал его под подушку.

Как только Ла Раме вышел и затворил за собою дверь, герцог разорвал крышку мяча зубами: ему нечем было ее разрезать. Ему даже к столу подавали серебряные ножи, которые гнулись и ничего не резали.

В мяче оказалась записка следующего содержания:

«Ваше высочество!

Друзья ваши бодрствуют, и час вашего освобождения близится.

Прикажете доставить вам послезавтра пирог от нового кондитера, купившего заведение у прежнего пирожника Марто. Этот новый кондитер не

кто иной, как ваш дворецкий Нуармон. Разрежьте пирог, когда будете одни. Надеюсь, что вы останетесь довольны его начинкой.

*Глубоко преданный слуга вашего высочества как в Бастилии, так и повсюду,
граф Рошфор.*

Вы можете вполне довериться Гримо, ваше высочество: это очень смысленный и преданный нам человек».

Герцог, у которого стали топить печь с тех пор, как он отказался от упражнений в живописи, сжег письмо Рошфора, как раньше, хотя с гораздо большим сожалением, сжег записку г-жи де Монбазон. Он хотел было бросить в печку и мяч, но потом ему пришло в голову, что он еще может пригодиться для передачи ответа Рошфору.

Герцога стерегли на совесть: подслушав, что он двигается у себя, в комнату вошел Ла Раме.

– Что угодно вашему высочеству? – спросил Ла Раме.

– Я озяб и помешал дрова, чтобы они хорошенько разгорелись, – сказал герцог. – Вы знаете, мой милый, что камеры Венсенского замка славятся своей сыростью. Здесь очень удобно сохранять лед и добывать селитру. А те камеры, в которых умерли Пюилоранс, маршал Орнано и мой дядя, великий приор, справедливо ценятся на вес мышьяка, как выразилась госпожа де Рамбулье.

И герцог снова лег в постель, засунув мяч еще глубже под подушку. Ла Раме усмехнулся. Он был, в сущности, неплохой и добрый человек. Он горячо привязался к своему знатному узнику и был бы в отчаянии, если бы с тем приключилась какая-нибудь беда. А то, что говорил герцог про своего дядю и двух других заключенных, была истинная правда.

– Не следует предаваться мрачным мыслям, ваше высочество, – сказал Ла Раме. – Такие мысли убивают скорее селитры.

– Вам хорошо говорить так, Ла Раме. Если бы я мог ходить по кондитерским, есть пирожки у преемника дядюшки Марто и запивать их бургундским, как вы, я бы тоже не скучал.

– Да уж, что правда, то правда, ваше высочество: пироги у него превосходные, да и вино прекрасное.

– Во всяком случае, его кухня и погреб должны быть получше, чем у господина де Шавиньи.

– А кто мешает вам попробовать его стряпню, ваше высочество? – сказал Ла Раме, попадаясь в ловушку. – Кстати, я обещал ему, что вы станете его покупателем.

– Хорошо, – согласился герцог. – Если уж мне суждено просидеть в заключении до самой смерти, как позаботился довести до моего сведения милейший Мазарини, то нужно же мне придумать какое-нибудь развлечение под старость. Постараюсь к тому времени сделаться лакомкой.

– Послушайтесь доброго совета, ваше высочество, не откладывайте этого до старости.

«Каждого человека, как видно, на погибель души и тела небо наделило хоть одним из семи смертных грехов, если не двумя сразу, – подумал герцог. – Чревоугодие – слабость Ла Раме. Что ж, воспользуемся этим».

– Послезавтра, кажется, праздник, милый Ла Раме? – спросил он.

– Да, ваше высочество, троицын день.

– Не желаете ли дать мне послезавтра урок?

– Чего?

– Гастрономии.

– С большим удовольствием, ваше высочество.

– Но для этого мы должны остаться вдвоем. отошлем сторожей обедать в столовую господина де Шавиньи и устроим себе ужин, заказать который я попрошу вас.

– Гм! – сказал Ла Раме.

Предложение было очень соблазнительно, но Ла Раме, несмотря на невыгодное мнение о нем Мазарини, был все-таки человек бывалый и знал все ловушки, которые умеют подстраивать узники своим надзирателям. Герцог хвастал не раз, что у него имеется сорок способов побега из крепости. Уж нет ли тут какой хитрости?

Ла Раме задумался на минуту, но затем рассудил, что раз обед он закажет сам, значит, ничего не будет подсыпано в кушанья или подливо в вино. А напоить его пьяным герцогу, конечно, нечего и надеяться; Ла Раме даже рассмеялся при таком предположении. Наконец ему пришла на ум еще одна мысль, решившая вопрос.

Герцог следил с тревогой за отражением этого внутреннего монолога на физиономии Ла Раме. Наконец лицо надзирателя просияло.

– Ну что ж, идет? – спросил герцог.

– Идет, ваше высочество, но с одним условием.

– С каким?

– Гримо будет нам прислуживать за столом.

Это было как нельзя более кстати для герцога.

Однако у него хватило сил скрыть свою радость, и он недовольно нахмурился.

– К черту вашего Гримо! – воскликнул он. – Он испортит мне весь праздник.

– Я прикажу ему стоять за вашим стулом, ваше высочество, а так как он обычно не говорит ни слова, то вы его не будете ни видеть, ни слышать. И при желании можете воображать, что он находится за сто миль от вас.

– А знаете, мой милый, что я заключаю из всего этого? – сказал герцог. – Вы мне не доверяете.

– Ведь послезавтра троицын день, ваше высочество.

– Так что ж из того? Какое мне дело до троицы? Или вы боитесь, что святой дух сойдет на землю в виде огненных языков, чтобы отворить мне двери тюрьмы?

– Конечно, нет, ваша светлость. Но я ведь говорил вам, что предсказал этот проклятый звездочет.

– А что такое?

– Что вы убежите из крепости прежде, чем пройдет троицын день.

– Так ты веришь колдунам? Глупец!

– Мне их предсказания не страшней вот этого, – сказал Ла Раме, шелкнув пальцами. – Но монсеньор Джулио и в самом деле побаивается. Он итальянец и, значит, суеверен.

Герцог пожал плечами.

– Ну, так и быть, согласен, – сказал он с прекрасно разыгранным добродушием. – Тащите вашего Гримо, если уж без этого нельзя обойтись, но кроме него – ни одной души, заботьтесь обо всем сами. Закажите ужин какой хотите, я же ставлю только одно условие: чтоб был пирог, о котором вы мне столько наговорили. Закажите его для меня, и пусть преемник Марто постарается. Пообещайте ему, что я сделаю его своим поставщиком не только на все время, которое просижу в крепости, но и после того, как выйду отсюда.

– Вы все еще надеетесь выйти? – спросил Ла Раме.

– Черт возьми! – воскликнул герцог. – В крайнем случае хоть после смерти Мазарини. Ведь я на пятнадцать лет моложе его. Правда, – с усмешкой добавил он, – в Венсене годы мчатся скорее.

– Монсеньор! – воскликнул Ла Раме. – Монсеньор!

– Или же здесь умирают раньше, – продолжал герцог, – что сводится к тому же.

– Так я закажу ужин, ваше высочество, – сказал Ла Раме.

– И вы полагаете, что вам удастся добиться успехов от вашего ученика?

– Очень надеюсь, монсеньор, – ответил Ла Раме.

– Если только успеете, – пробормотал герцог.

– Что вы говорите, ваше высочество?

– Мое высочество просит вас не жалеть кошелька кардинала, который соблаговолил принять на себя расходы по нашему содержанию.

Ла Раме остановился в дверях.

– Кого прикажете прислать к вам, монсеньор? – спросил он.

– Кого хотите, только не Гримо.

– Караульного офицера?

– Да, с шахматами.

– Хорошо.

И Ла Раме ушел.

Через пять минут явился караульный офицер, и герцог де Бофор, казалось, совершенно погрузился в глубокие расчеты шахов и матов.

Странная вещь человеческая мысль! Какие перевероты производит в ней иногда одно движение, одно слово, один проблеск надежды!

Герцог пробыл в заключении пять лет, которые тянулись для него страшно медленно. Теперь же, когда он вспоминал о прошлом, эти пять лет казались ему не такими длинными, как те два дня, те сорок восемь часов, которые оставались до освобождения.

Но больше всего хотел бы он узнать, каким образом состоится его освобождение. Ему подали надежду, но от него скрыли, что же будет в таинственном пироге, что за друзья будут ждать его. Значит, несмотря на пять лет, проведенные в тюрьме, у него еще есть друзья? В таком случае он действительно был принцем с очень большими привилегиями.

Он забыл, что в числе его друзей (что было уж вовсе необыкновенно) имелась женщина. Быть может, она и не отличалась особенной верностью ему во время разлуки; но она не забыла о нем, а это уже очень много.

Тут было над чем призадуматься. А потому при игре в шахматы вышло то же, что при игре в мяч. Бофор делал промах за промахом и проигрывал офицеру вечером так же, как утром проиграл Ла Раме.

Однако очередные поражения давали возможность герцогу дотянуть до восьми часов вечера и кое-как убить три часа. Потом придет ночь, а с ней и сон.

Так по крайней мере полагал герцог. Но сон – очень капризное божество, которое не приходит именно тогда, когда его призывают. Герцог прождал его до полуночи, ворочаясь с боку на бок на своей постели, как святой Лаврентий на раскаленной решетке. Наконец он заснул.

Но на рассвете он проснулся. Всю ночь мучили его страшные сны. Ему снилось, что у него выросли крылья. Вполне естественно, что он попробовал полететь, и сначала крылья отлично его держали. Но, поднявшись довольно высоко, он вдруг почувствовал, что не может больше держаться в воздухе. Крылья его сломались, он полетел вниз, в бездонную пропасть, и проснулся с холодным потом на лбу, совершенно разбитый, словно и впрямь рухнул с высоты.

Потом он снова заснул и опять погрузился в лабиринт нелепых, бессвязных снов. Едва он закрыл глаза, как его воображение, направленное к единой цели – бегству из тюрьмы, снова стало рисовать попытки осуществить его. На этот раз все шло по-другому. Бофору снилось, что он открыл подземный ход из Венсена. Он спустился в этот ход, а Гримо шел впереди с фонарем в руке. Но мало-помалу проход стал суживаться. Сначала еще все-таки можно было идти, но потом подземный ход стал так узок, что беглец уже тщетно пытался продвинуться вперед. Стены подземного хода все сближались, все сжимались, герцог делал неслыханные усилия и все же не мог двинуться с места. А между тем вдали виднелся фонарь Гримо, неуклонно

шедшего вперед. И сколько герцог ни старался позвать его на помощь, он не мог вымолвить ни слова, подземелье душило его. И вдруг в начале коридора, там, откуда он вошел, послышались поспешные шаги преследователей, они все приближались; его заметили, надежда на спасение пропала. А стены словно сговорились с врагами, и чем настоятельнее была необходимость бежать, тем больше они теснили его. Наконец он услышал голос Ла Раме, увидел его. Ла Раме протянул руку и, громко расхохотавшись, схватил герцога за плечо. Его потащили назад, привели в низкую сводчатую камеру, где умерли маршал Орнано, Пюилоранс и его дядя. Три холмика отмечали их могилы, четвертая зияла тут же, ожидая еще один труп.

Проснувшись, герцог уже напрягал все силы, чтобы опять не заснуть, как раньше напрягал их, чтобы заснуть. Он был так бледен, казался таким слабым, что Ла Раме, вошедший к нему, спросил, не болен ли он.

– Герцог провел действительно очень тревожную ночь, – сказал один из сторожей, не спавший все время, так как у него от сырости разболелись зубы. – Он бредил и раза два-три звал на помощь.

– Что же это с вами, монсьеор? – спросил Ла Раме.

– Это все твоя вина, дурак! – сказал герцог. – Ты своими глупыми рассказками о бегстве совсем вскружил мне голову, и мне всю ночь снилось, что я, пытаюсь бежать, ломаю себе шею.

Ла Раме расхохотался.

– Вот видите, ваше высочество, – сказал он. – Это предостережение свыше. Я уверен, что вы не будете так неосмотрительны наяву, как во сне.

– Ты прав, любезный Ла Раме, – ответил герцог, отирая со лба холодный пот, все еще струющийся, хоть он и давно проснулся. – Я не хочу больше думать ни о чем, кроме еды и питья.

– Тсс! – сказал Ла Раме.

И под разными предложениями он поспешил удалить, одного за другим, сторожей.

– Ну что? – спросил герцог, когда они остались одни.

– Ужин заказан, – сказал Ла Раме.

– Какие же будут блюда, господин дворецкий?

– Ведь вы обещали положиться на меня, ваше высочество!

– А пирог будет?

– Еще бы. Как башня!

– Изготовленный преемником Марто?

– Заказан ему.

– А ты сказал, что это для меня?

– Сказал.

– Что же он ответил?

– Что постарается угодить вашему высочеству.

– Отлично, – сказал герцог, весело потирая руки.

– Черт возьми! – воскликнул Ла Раме. – Какие, однако, успехи делаете вы по части чревоугодия, ваше высочество! Ни разу за пять лет я не видал у вас такого счастливого лица.

Герцог понял, что плохо владеет собой. Но в эту минуту Гримо, должно быть, подслушав разговор и сообразив, что надо чем-нибудь отвлечь внимание Ла Раме, вошел в комнату и сделал знак своему начальнику, словно желая ему что-то сообщить.

Тот подошел к нему, и они заговорили вполголоса.

Герцог за это время опомнился.

– Я, однако, запретил этому человеку входить сюда без моего разрешения, – сказал он.

– Простите его, ваше высочество, – сказал Ла Раме, – это я велел ему прийти.

– А зачем вы зовете его, зная, что он мне неприятен?

– Но ведь, как мы условились, ваше высочество, он будет прислуживать за нашим славным ужином! Вы забыли про ужин, ваше высочество?

- Нет, но я забыл про господина Гримо.
- Вашему высочеству известно, что без Гримо не будет и ужина.
- Ну хорошо, делайте как хотите.
- Подойдите сюда, любезный, – сказал Ла Раме, – и послушайте, что я скажу.
- Гримо, смотревший еще угрюмее обыкновенного, подошел поближе.
- Его высочество, – продолжал Ла Раме, – оказал мне честь пригласить меня завтра на

ужин.

Гримо взглянул на него с недоумением, словно не понимая, каким образом это может касаться его.

– Да, да, это касается и вас, – ответил Ла Раме на этот немой вопрос. – Вы будете иметь честь прислуживать нам, а так как, несмотря на весь наш аппетит и жажду, на блюдах и в бутылках все-таки кое-что останется, то хватит и на вашу долю.

Гримо поклонился в знак благодарности.

– А теперь я попрошу у вас позволения удалиться, ваше высочество, – сказал Ла Раме. – Господин де Шавиньи, кажется, уезжает на несколько дней и перед отъездом желает отдать мне приказания.

Герцог вопросительно взглянул на Гримо, но тот равнодушно смотрел в сторону.

- Хорошо, ступайте, – сказал герцог, – только возвращайтесь поскорее.
- Вероятно, вашему высочеству угодно отыгратья после вчерашней неудачи?

Гримо чуть заметно кивнул головой.

– Разумеется, угодно, – сказал герцог. – И берегитесь, Ла Раме, день на день не придется: сегодня я намерен разбить вас в пух и прах.

Ла Раме ушел. Гримо, не шелохнувшись, проводил его глазами и, как только дверь затворилась, вытащил из кармана карандаш и четвертушку бумаги.

– Пишите, монсеньор, – сказал он.

– Что писать? – спросил герцог.

Гримо подумал немного и продиктовал:

– «Все готово к завтрашнему вечеру. Ждите нас с семи до девяти часов с двумя оседланными лошадьми. Мы спустимся из первого окна галереи».

– Дальше? – сказал герцог.

– Дальше, монсеньор? – удивленно повторил Гримо. – Дальше подпись.

– И все?

– Чего же больше, ваше высочество? – сказал Гримо, предпочитавший самый сжатый слог.

Герцог подписался.

– А вы уничтожили мяч, ваше высочество?

– Какой мяч?

– В котором было письмо.

– Нет, я думал, что он еще может нам пригодиться. Вот он.

И, вынув из-под подушки мяч, герцог подал его Гримо.

Тот постарался улыбнуться как можно приятнее.

– Ну? – спросил герцог.

– Я зашью записку в мяч, ваше высочество, – сказал Гримо, – и вы во время игры бросите его в ров.

– А если он потеряется?

– Не беспокойтесь. Там будет человек, который поднимет его.

– Огородник? – спросил герцог.

Гримо кивнул головою.

– Тот же, вчерашний?

Гримо снова кивнул.

– Значит, граф Рошфор?

Гримо трижды кивнул.

– Объясни же мне хоть вкратце план нашего бегства.

– Мне велено молчать до последней минуты.

– Кто будет ждать меня по ту сторону рва?

– Не знаю, монсеньор.

– Так скажи мне по крайней мере, что пришлют нам в пироге, если не хочешь свести меня с ума.

– В нем будут, монсеньор, два кинжала, веревка с узлами и груша.

– Хорошо, понимаю.

– Как видите, ваше высочество, на всех хватит.

– Кинжалы и веревку мы возьмем себе, – сказал герцог.

– А грушу заставим съесть Ла Раме, – добавил Гримо.

– Мой милый Гримо, – сказал герцог, – нужно отдать тебе должное: ты говоришь не часто, но уж если заговоришь, то слова твои – чистое золото.

Глава XXII

Одно из приключений Мари Мишон

В то самое время, как герцог Бофор и Гримо замыслили побег из Венсена, два всадника, в сопровождении слуги, въезжали в Париж через предместье Сен-Марсель. Это были граф де Ла Фер и виконт де Бражелон.

Молодой человек первый раз был в Париже, и, по правде сказать, Атос, въезжая с ним через эту заставу, не позаботился о том, чтобы показать с самой лучшей стороны город, с которым был когда-то в большой дружбе. Наверное, даже последняя деревушка Турени была приятнее на вид, чем часть Парижа, обращенная в сторону Блуа. И нужно сказать, к стыду этого столь прославленного города, что он произвел весьма посредственное впечатление на юношу.

Атос казался, как всегда, спокойным и беззаботным. Доехав до Сен-Медарского предместья, Атос, служивший в этом лабиринте проводником своим спутникам, свернул на Почтовую улицу, потом на улицу Пыток, потом к рвам Святого Михаила, потом на улицу Вожирар. Добравшись до улицы Феру, они поехали по ней. На середине ее Атос с улыбкой взглянул на один из домов, с виду купеческий, и показал на него Раулю.

– Вот в этом доме, Рауль, – сказал он, – я прожил семь самых счастливых и самых жестоких лет моей жизни.

Рауль тоже улыбнулся и, сняв шляпу, низко поклонился дому. Он благоговел перед Атосом, и это проявлялось во всех его поступках.

Что же касается самого Атоса, то, как мы уже говорили, Рауль был не только средоточием его жизни, но, за исключением старых полковых воспоминаний, и его единственной привязанностью. Из этого можно понять, как глубоко и нежно любил Рауля Атос.

Путники остановились в гостинице «Зеленая лисица», на улице Старой Голубятни. Атос хорошо знал ее, так как сотни раз бывал здесь со своими друзьями. Но за двадцать лет тут изменилось все, начиная с хозяев.

Наши путешественники прежде всего позаботились о своих лошадях. Поручая их слугам, они приказали подостлать им соломы, дать овса и вытереть ноги и грудь теплым вином, так как эти породистые лошади сделали за один день двадцать миль. Только после этого, как надлежит хорошим ездокам, они спросили две комнаты для себя.

– Вам необходимо переодеться, Рауль, – сказал Атос. – Я хочу вас представить кой-кому.

– Сегодня? – спросил юноша.

– Да, через полчаса.

Рауль поклонился.

Не столь неутомимый, как Атос, который был точно выкован из железа, Рауль гораздо охотнее выкупался бы сейчас в Сене – он столько о ней наслышался, хоть и склонен был заранее признать ее хуже Луары, – а потом лечь в постель. Но граф сказал, и он повиновался.

– Кстати, оденьтесь получше, Рауль, – сказал Атос. – Мне хочется, чтобы вы казались красивым.

– Надеюсь, граф, что дело идет не о сватовстве, – с улыбкой сказал Рауль, – ведь вы знаете мои обязательства по отношению к Луизе.

Атос тоже улыбнулся.

– Нет, будьте покойны, хоть я и представлю вас женщине.

– Женщине? – переспросил Рауль.

– Да, и мне даже очень хотелось бы, чтобы вы полюбили ее.

Рауль с некоторой тревогой взглянул на графа, но, увидев, что тот улыбается, успокоился.

– А сколько ей лет? – спросил он.

– Милый Рауль, запомните раз навсегда, – сказал Атос, – о таких вещах не спрашивают. Если вы можете угадать по лицу женщины ее возраст – совершенно лишнее спрашивать об этом, если же не можете – ваш вопрос нескромен.

– Она красива?

– Шестнадцать лет тому назад она считалась не только самой красивой, но и самой очаровательной женщиной во Франции.

Эти слова совершенно успокоили Рауля. Невероятно было, чтобы Атос собирался женить его на женщине, которая считалась красивой за год до того, как Рауль появился на свет.

Он прошел в свою комнату и с кокетством, свойственным юности, исполняя просьбу Атоса, постарался придать себе самый изящный вид. При его природной красоте это было совсем не трудно.

Когда он вошел к Атосу, тот оглядел его с отеческой улыбкой, с которой в минувшие годы встречал д'Артаньяна. Только в улыбке этой было теперь гораздо больше нежности.

Прежде всего Атос посмотрел на волосы Рауля и на его руки и ноги – они говорили о благородном происхождении. Следуя тогдашней моде, Рауль причесался на прямой пробор, и темные волосы локонами падали ему на плечи, обрамляя матово-бледное лицо. Серые замшевые перчатки, одного цвета со шляпой, обрисовывали его тонкие изящные руки, а сапоги, тоже серые, как перчатки и шляпа, ловко обтягивали маленькие, как у десятилетнего ребенка, ноги.

«Если она не будет гордиться им, – подумал Атос, – то на нее очень трудно угодить».

Было три часа пополудни – самое подходящее время для визитов. Наши путешественники отправились по улице Гренель, свернули на улицу Розы, вышли на улицу Святого Доминика и остановились у великолепного дома, расположенного против Якобинского монастыря и украшенного гербами семьи де Люинь.

– Здесь, – сказал Атос.

Он вошел в дом твердым, уверенным шагом, который сразу дает понять привратнику, что входящий имеет на это право, поднялся на крыльцо и, обратившись к лакею в богатой ливрее, послал его узнать, может ли герцогиня де Шеврез принять графа де Ла Фер.

Через минуту лакей вернулся с ответом: хотя герцогиня и не имеет чести знать графа де Ла Фер, она просит его войти.

Атос последовал за лакеем через длинную анфиладу комнат и остановился перед закрытой дверью. Он сделал виконту де Бражелону знак, чтобы тот подождал его здесь.

Лакей отворил дверь и доложил о графе де Ла Фер.

Герцогиня де Шеврез, о которой мы часто упоминали в нашем романе «Три мушкетера», ни разу не имея случая вывести ее на сцену, считалась еще очень красивой женщиной. На вид ей можно было дать не больше тридцати восьми – тридцати девяти лет, тогда как на самом деле ей уже минуло сорок пять. У нее были все те же чудесные белокурые волосы, живые умные глаза, которые так часто широко раскрывались, когда герцогиня вела какую-либо интригу, и которые так часто смыкала любовь, и талия тонкая, как у нимфы, так что герцогиню, если не видеть ее лица, можно было принять за совсем молоденькую девушку, какой она была в то время, когда прыгала с Анной Австрийской через тюильрийский ров, лишивший в 1633 году Францию наследника престола.

В конце концов это было все то же сумасбродное существо, умевшее придавать своим любовным приключениям такую оригинальность, что они служили почти к славе семьи.

Герцогиня сидела в небольшом будуаре, окна которого выходили в сад. Будуар этот по тогдашней моде, которую ввела г-жа де Рамбулье, отделявая свой особняк, был обтянут голубой шелковой материей с розоватыми цветами и золотыми листьями. Только изрядная кокетка решила бы в лета герцогини де Шеврез сидеть в таком будуаре. А она даже не сидела, а полулежала на кушетке, прислонившись головою к вышитому ковру, висевшему на стене.

Опершись локтем на подушку, она держала в руке раскрытую книгу.

Когда лакей доложил о графе де Ла Фер, герцогиня слегка приподнялась и с любопытством посмотрела на дверь.

Вошел Атос.

На нем был лиловый бархатный костюм, отделанный шнурами того же цвета с серебряными воронеными наконечниками, плащ без золотого шитья и черная шляпа с простым лиловым пером.

Отложной воротник его рубашки был из дорогого кружева; такие же кружева спускались на отвороты его черных кожаных сапог, а на боку висела шпага с великолепным эфесом, которой на улице Феру так восхищался когда-то Портос и которую Атос так ни разу и не одолжил ему.

В лице и манерах графа де Ла Фер, имя которого только что прозвучало как совершенно неизвестное для герцогини де Шеврез, было столько благородства и изящества, что она слегка привстала и предложила ему занять место возле себя.

Атос поклонился и сел. Лакей хотел было уйти, но Атос знаком удержал его.

– Я имел смелость явиться к вам в дом, герцогиня, – сказал он, – несмотря на то что мы незнакомы. Смелость моя увенчалась успехом, так как вы сообразовали принять меня. Теперь я прошу вас уделить мне полчаса для беседы.

– Я готова исполнить вашу просьбу, граф, – с любезной улыбкой ответила герцогиня де Шеврез.

– Но это еще не все. Простите, я знаю и сам, что требую слишком многого. Я прошу у вас беседы без свидетелей, и мне бы не хотелось, чтобы нас прерывали.

– Меня ни для кого нет дома, – сказала герцогиня лакею. – Можете идти.

Лакей вышел.

На минуту наступило молчание. Герцогиня и ее гость, с первого взгляда увидевшие, что принадлежат к одному кругу людей, спокойно смотрели друг на друга.

Герцогиня первая прервала молчание.

– Ну что же, граф? – сказала она, улыбаясь. – Разве вы не видите, с каким нетерпением я жду?

– А я, герцогиня, я смотрю и восхищаюсь, – ответил Атос.

– Извините меня, – продолжала герцогиня, – но мне хочется поскорее узнать, с кем я имею удовольствие говорить. Нет никакого сомнения, что вы бываете при дворе. Почему я никогда не встречала вас там? Может быть, вы только что вышли из Бастилии?

– Нет, герцогиня, – с улыбкой сказал Атос, – но, может быть, я стою на дороге, которая туда ведет.

– Да? В таком случае скажите мне поскорее, кто вы, и уходите! – воскликнула герцогиня с той живостью, которая была в ней так пленительна. – Я и без того уже достаточно скомпрометировала себя, чтобы запутываться еще больше.

– Кто я, герцогиня? Вам доложили обо мне как о графе де Ла Фер, но вы никогда не слыхали этого имени. В прежнее время я носил другое имя, которое вы, может быть, и знали, но, конечно, забыли уже.

– Все равно, скажите его мне, граф.

– Когда-то меня звали Атосом.

Герцогиня взглянула на него удивленными, широко раскрытыми глазами. Было очевидно, что это имя не вполне изгладилось у нее из памяти, хотя и затерялось среди старых воспоминаний.

– Атос? – сказала она. – Постойте...

Она приложила обе руки ко лбу как бы для того, чтобы задержать на мгновение множество мелькающих мыслей и разобраться в их сверкающем и пестром роении.

– Не помочь ли вам, герцогиня? – с улыбкой спросил Атос.

– Да, да, – сказала г-жа де Шеврез, уже утомленная этими поисками, – вы сделаете мне большое одолжение.

– Этот Атос был очень дружен с тремя молодыми мушкетерами: д'Артаньяном, Портосом и...

Атос остановился.

– И Арамисом, – быстро договорила герцогиня.

– И Арамисом, совершенно верно. Значит, вы еще не забыли этого имени?

– Нет, – ответила она, – нет. Бедный Арамис! Он был такой красивый, изящный и скромный молодой человек, писавший прелестные стихи. Говорят, он плохо кончил?

– Совсем плохо. Он сделался аббатом.

– Ах, какая жалость! – сказала герцогиня, небрежно играя своим веером. – Но я, право, очень благодарна вам, граф.

– За что же?

– За то, что вы вызвали одно из самых приятных воспоминаний моей молодости.

– А могу я напомнить вам другое?

– Имеющее связь с этим?

– И да и нет.

– Что ж, – сказала г-жа де Шеврез, – говорите. С таким человеком, как вы, можно ничего не бояться.

Атос поклонился.

– Арамис был в очень близких отношениях с одной молоденькой белошвейкой из Тура, – сказал он.

– С белошвейкой из Тура?

– Да. Ее звали Мари Мишон, и она приходилась ему кузиной.

– Ах, я знаю ее! – воскликнула герцогиня. – Это та, которой он писал во время осады Ла-Рошели, предупреждая ее о заговоре против бедного Бекингема!

– Она самая. Позвольте мне говорить о ней?

Герцогиня взглянула на него.

– Да, если вы не будете отзываться о ней слишком дурно, – сказала она.

– Это было бы черной неблагодарностью с моей стороны, – сказал Атос. – А по-моему, неблагодарность не недостаток и не грех, а порок, что гораздо хуже.

– Неблагодарность по отношению к Мари Мишон? И с вашей стороны, граф? – воскликнула герцогиня, пристально смотря на Атоса и как бы стараясь прочесть его тайные мысли. – Но разве это возможно? Ведь вы даже не были знакомы с ней.

– Кто знает, сударыня? Может быть, и был, – сказал Атос. – Народная пословица гласит, что только гора с горой не сходится, а народные пословицы иной раз изумительно верны.

– О, продолжайте, продолжайте, – быстро проговорила герцогиня. – Вы не можете себе представить, с каким любопытством я вас слушаю.

– Вы придаете мне смелости, сударыня, – я буду продолжать. Эта кузина Арамиса, эта Мари Мишон, эта молоденькая белошвейка, несмотря на свое низкое общественное положение, была знакома с блестящей знатью. Самые важные придворные дамы считали ее своим другом, а королева, несмотря на всю свою гордость – двойную гордость испанки и австриячки, – называла ее своей сестрою.

– Увы! – проговорила герцогиня с легким вздохом и чуть заметным, свойственным ей одной движением бровей. – С тех пор многое изменилось.

– И королева была права, – продолжал Атос. – Мари Мишон была действительно глубоко предана ей, предана до такой степени, что решилась быть посредницей между нею и ее братом, испанским королем.

– А теперь это вменяют ей в преступление, – заметила герцогиня.

– Тогда кардинал – настоящий кардинал, не этот – решил в один прекрасный день арестовать бедную Мари Мишон и отправить ее в замок Лош. К счастью, об этом замысле узнали вовремя. Его даже предвидели и заранее условились: королева должна была прислать Мари Мишон молитвенник в зеленом бархатном переплете, если той будет грозить какая-нибудь опасность.

– Да, именно так, вы хорошо осведомлены.

– Однажды утром принц де Марсильяк принес Мари книгу в зеленом переплете. Нельзя было терять ни минуты. К счастью, Мари Мишон и ее служанка Кэтти отлично умели носить мужской наряд. Принц доставил им платье – дорожный костюм для Мари и ливрею для Кэтти, а также двух отличных лошадей. Беглянки поспешно оставили Тур и направились в Испанию. Не решаясь показываться на больших дорогах, они ехали проселочными, вздрагивая от страха при малейшем шуме, и часто, когда на пути не встречалось гостиниц, пользовались случайным приютом.

– Все это правда, истинная правда! – воскликнула герцогиня, хлопая в ладоши. – Было бы очень любопытно...

Она остановилась.

– Если б я проследил за путешественницами до самого конца? – спросил Атос. – Нет, герцогиня, я не позволю себе так злоупотреблять вашим временем. Мы доберемся с ними только до маленького селения Рош-Лабейль, лежащего между Тюллем и Ангулемом.

Герцогиня вскрикнула и с таким изумлением взглянула на Атоса, что бывший мушкетер не мог удержаться от улыбки.

– Подождите, сударыня, – сказал он, – теперь мне остается рассказать вам нечто, еще более необычайное.

– Вы колдун, сударь! – воскликнула герцогиня. – Я ко всему готова, но, право же... Впрочем, продолжайте.

– В тот день они ехали долго, дорога была трудная. Стояла холодная погода – это было одиннадцатого октября. В селении не было ни гостиницы, ни замка, одни только жалкие грязные крестьянские домишки. Между тем у Мари Мишон были самые аристократические привычки: подобно своей сестре-королеве, она привыкла к проветренной спальне и тонкому белью. Она решила просить гостеприимства у священника.

Атос остановился.

– Продолжайте, – сказала герцогиня. – Я уже говорила вам, что готова ко всему.

– Путешественницы постучались в дверь. Было поздно. Священник уже лег. Он крикнул им: «Войдите!» Они вошли, так как дверь была незаперта. В деревнях люди доверчивы. В спальне священника горела лампа. Мари Мишон, очаровательная в мужском платье, толкнула дверь, просунула голову в комнату и попросила позволения переночевать. «Пожалуйста, молодой человек, – сказал священник, – если вы согласны удовольствоваться остатками моего ужина и половиною моей комнаты». Путешественницы пошептались между собой, и священник слышал, как они громко смеялись. А потом раздался голос молодого господина или, вернее, госпожи: «Благодарю вас, господин кюре. Мне это подходит». – «В таком случае ужинайте, но постарайтесь поменьше шуметь. Я тоже не сходил с седла весь день и не прочь хорошенько выспаться».

Удивление герцогини де Шеврез сперва сменилось изумлением, а теперь она была просто ошеломлена. Лицо ее приобрело выражение, которое невозможно описать никакими словами: видно было, что ей хочется сказать что-то, но она молчит из опасения пропустить хоть одно слово своего собеседника.

– А дальше? – спросила она.

– Дальше? Вот это действительно самое трудное.

– Говорите, говорите! Мне можно сказать все. К тому же это меня несколько не касается, – это дело Мари Мишон.

– Ах да, совершенно верно! Итак, Мари Мишон поужинала со своей служанкой, а после ужина, пользуясь данным ей позволением, вошла в спальню священника. Кэтти уже устроилась на ночь в кресле в передней комнате, то есть там, где они ужинали.

– Послушайте! – воскликнула герцогиня. – Если только вы не сам сатана, то я не могу понять, каким образом узнали вы все эти подробности!

– Мари Мишон была прелестная женщина, – продолжал Атос, – одно из тех сумасбродных созданий, которым постоянно приходят в голову самые странные причуды и которые созданы всем нам на погибель. И вот, когда эта кокетка подумала, что ее хозяин – священник, ей пришло на ум, что под старость забавно будет иметь в числе многих веселых воспоминаний еще лишнее веселое воспоминание о священнике, попавшем по ее милости в ад.

– Честное слово, граф, вы меня приводите в ужас.

– Увы! Бедный священник был не святой Амвросий, а Мари Мишон, повторяю, была очаровательная женщина.

– Сударь, – воскликнула герцогиня, хватая Атоса за руки, – скажите мне сию же минуту, как вы узнали все это, не то я пошлю в Августинский монастырь за монахом, чтобы он изгнал из вас беса!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.